

Николай Добролюбов

Русская сатира екатерининского времени



Николай Александрович Добролюбов

Русская сатира екатерининского времени

Статья Добролюбова – яркий пример реализации принципов «реальной критики» на историко-литературном и публицистическом материале XVIII в. Литературу Добролюбов прежде всего соотносит с явлениями действительной жизни; главное для критика – результат, воздействие сатиры прошлого века, настоящего времени на читательские умы, на развитие общества. Противопоставляя «академическую» критику публицистической, «библиографическую» – реальной, Добролюбов включает демократическую сатиру в «настоящее» литературное дело, необходимое для революционно-демократических преобразований русского общества.

Содержание

#1	0005
Примечания	0243

**Николай Александрович
Добролюбов
Русская сатира
екатерининского времени**

*(Русские сатирические журналы
1769–1774 годов. Эпизод из истории рус-
ской литературы прошлого века. Соч.
А. Афанасьева. Москва, 1859)*

*А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб там речей не тратить по-пу-
стому,
Где нужно власть употребить.
Крылов{1}*

Искусство говорить слова для слов всегда возбуждало великое восхищение в людях, которым нечего делать. Но такое восхищение не всегда может быть оправдано. Конечно, и звук, как все на свете, имеет право на «самостоятельное существование» и, доходя до высокой степени прелести и силы, может восхищать сам собою, независимо от того, что им выражается. Так, нас может пленять соловьиное пенье, смысла которого мы не понимаем, итальянская опера, которую обыкновенно понимаем еще меньше, и т. п. Но в большинстве случаев звук занимает нас только как знак, как выражение идеи. Восхищаться в официальном отчете – его слогом, или в профессорской лекции – ее звучностью означает крайнюю односторонность и ограниченность, близкую к идиотству. Вот почему, как только литература перестает быть праздною забавою, вопросы о красотах слога, о трудных рифмах, о звукоподражательных фразах и т. п. становятся на второй план: общее внимание привлекается содержанием того, что пишется, а не внешнею формою. Таким образом, красивенькие описания, звучные дифирамбы

и всякого рода общие места исчезают перед произведениями, в которых развивается общественное содержание. Является потребность в изображении нравов; а так как нравы, от начала человеческих обществ до наших времен, были всегда очень плохи, то изображение их всегда переходит в сатиру. Таким образом, сатира, говоря слогом московских публицистов{2}, «служит доказательством зрелости общественной среды и залогом грядущего совершенствования государства». Не мудрено поэтому, что и у нас сатира привлекает к себе особенную благосклонность образованной публики и приводит в восторг лучших наших историков литературы, то есть тех, которые уже переступили степень развития, позволяющую иным восхищаться слогом официальных отчетов.

Относительно значения и достоинства сатиры вообще мы совершенно соглашаемся с почтенными историками литературы нашей. Но мы позволим себе указать на одну особенность нашей родной сатиры, до сих пор почти не удостоенную внимания ученых исследователей. Особенность эта состоит в том, что ли-

температура наша началась сатирою, продолжалась сатирою и до сих пор стоит на сатире – и между тем все-таки не сделалась еще существенным элементом народной жизни, не составляет серьезной необходимости для общества, а продолжает быть для публики чем-то посторонним, роскошью, забавою, а никак не делом. Это значит, что и сатира у нас вовсе не есть «следствие зрелости общественной среды», а объясняется совершенно другими причинами. Причины эти нетрудно понять: сатира явилась у нас, как привозный плод, а вовсе не как продукт, выработанный самой народной жизнью. Кантемир, обличая приверженцев старины и вздорных поклонников новизны, сказал не думу русского народа, а идеи иностранного князя{3}, пораженного тем, что русские не так принимают европейское образование, как бы следовало по плану преобразователя России. Ставши под покровом официальных распоряжений, он смело карал то, что и так отодвигалось на задний план разнообразными реформами, уже приказанными и произведенными; но он не касался того, что было действительно дурно – не для успеха го-

сударственной реформы, а для удобств жизни самого народа. В то время как вводилась рекрутская повинность, Кантемир изощрялся над неслужащими; когда учреждалась табель о рангах, он поражал боярскую спесь и местничество;{4} когда народ от притеснений и непонятных ему новостей всякого рода бежал в раскол, он смеялся над мертвою обрядностью раскольников;{5} когда народ нуждался в грамоте, а у нас учреждалась академия наук, он обличал тех, которые говорили, что можно жить, не зная ни латыни, ни Эвклида, ни алгебры...{6} С Кантемира так это и пошло на целое столетие: никогда почти не добивались сатирики до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением против того, от чего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия. Характер обличений был частный, мелкий, поверхностный. И вышло то, что сатира наша, хотя, по-видимому, и говорила о деле, но, в сущности, постоянно оставалась пустым звуком...

Любопытно проследить, как это случилось, и мы не отказываемся, по мере возможности,

когда-нибудь серьезно заняться этим вопросом. Но теперь выскажем лишь несколько общих замечаний, нужных для настоящего предмета нашей статьи.

Когда человек говорит о деле, то прямая цель его слов та, чтобы дело было сделано; когда сатирик восстает против недостатков, то у него непременно есть стремление исправить недостатки. Но, чтобы подобная цель могла достигаться, нужно говорить дельно и договаривать до конца; иначе никакого толку не выйдет. Если меня, например, порицают за то, что я живу в дурной квартире и ем плохую пищу, между тем как у меня нет денег для лучшей квартиры и пищи, то очевидно, что все порицания не принесут мне ровно никакой пользы. Человек, истинно желающий, чтобы я исправился от дурной привычки скудно есть и жить в бедности, непременно обратит свои обличения не на квартиру и стол мой, а – или на то, зачем я сам ничего не делаю для своего обеспечения, или на то, зачем другие не вознаграждают моего труда как следует. То же самое и в нравственной жизни общества. Большая часть обществен-

ных явлений не может быть изменена просто волею частных лиц: нужно изменить обстановку, дать другие начала для общей деятельности, и тогда уже обличать тех, которые не сумеют воспользоваться выгодами нового устройства. Наши сатирики отчасти не хотели понять этого, а отчасти и понимали, да не могли выразить. Они нападали на необразованность, взяточничество и ханжество, отсутствие законности, спесь и жестокость в обращении с низшими, подлость пред высшими и пр. Но весьма редко в этих обличениях проглядывала мысль, что все эти частные явления суть не что иное, как неизбежные следствия ненормальности всего общественного устройства. Большею частью нападали на взяточника так, как будто бы все зло взяточничества зависело единственно от личной склонности таких-то к обдиранию просителей. Никогда в сатирах наших вопрос о взятках не переходил в рассмотрение общего вреда бюрократии и тех обстоятельств, которыми сама бюрократия порождена и развита. То же было и во всех других вопросах. Большая часть сатириков наших уподоблялась челове-

ку, обличающему бедняка за то, что тот не живет в роскоши, и добросовестно убежденному, что от этих обличений жизнь бедняка пойдет лучше. Некоторые же из обличителей задавались такой мыслью: «Мы, дескать, будем обличать и ославлять бедняка за его скудость; когда это дойдет до хозяина, от которого он получает жалованье, так хозяин-то усомнится, да и сделает ему прибавку». Рассуждение это, замечательное по своей наивности, очевидно руководило весьма многими из наших сатириков, от Сумарокова до наших дней, и вследствие того обличения бедняка в скудости обыкновенно заканчивались увещанием исправиться, оставаясь на службе у того же хозяина... В одной из наших прежних статей мы уже говорили о подобных сатириках, называя их Маниловыми^{7}, и здесь не можем не повторить, что именно этот маниловский характер и лишал постоянно нашу сатиру реального значения. Жевали, жевали, мяли, мяли у нас в литературе разные общественные вопросы и под конец дошли – до чего же? – до эстетического открытия, что и сатира может быть таким же словом для слова,

как и звучное стихотворение Фета или Хомякова... Оказалось, что не одни розы и грезы, не одну географию славянских рек, но и общественные язвы можно воспевать только для процесса воспевания. Сатира явилась только другим видом, или, если хотите, другою степенью старинных эклог, рондо и мадригалов... Здесь был, конечно, уже не звук для звука, но и не звук для дела; это было – обличение для обличения, спор для спора, остроумие для остроумия. До настоящего дела было отсюда чрезвычайно далеко, не только в выражении, но и в мысли сатириков. Они твердили: не нужно прислуживаться к начальству, не нужно брать взяток, не нужно эксплуатировать других и пр. Но как же быть, когда без прислуживанья и без взяток большинство чиновников не может выбиться из ничтожества, не может содержать семьи, прилично одеться и т. д.? Как быть, ежели при современных общественных отношениях всякий, кто не эксплуатирует другого, должен почти умирать с голода? При этих вопросах не только обличаемые, но и сами обличители становились в тупик и начинали бить воздух от-

влеченностями о том, что, во всяком случае, надо, однако, быть честным. Но так как этот аргумент был уже слишком слаб даже пред судом их собственной совести, вроде докторского уверения больному, что следует беречь здоровье, то они обыкновенно пускались в очарования и надежды. «Конечно, – рассуждали они, – худосочие и ревматизм нельзя уничтожить медикаментами; надо переменить образ жизни и всю внешнюю обстановку. Но в настоящее время, когда все идет вперед, не нужно особенных усилий для того, чтобы сделать такую радикальную перемену: она совершается сама собою. По сложности ученых наблюдений за последние пятьдесят лет оказывается, что климат вообще смягчается в северных странах, море оседает, гастрономия делает новые успехи, многие изнурительные для здоровья работы исполняются новоизобретенными машинами», и пр. и пр. ...Нет сомнения, что все это должно быть весьма утешительно для больного бедняка, потому что подает ему надежду, что медленный, но верный прогресс скоро коснется и его положения и уничтожит причины его болезни... Такие и

подобные рассуждения всегда составляли одну из необходимых частей нашей сатиры; причины их заключались в неуменье или нерешимости указать действительные средства поправить дело; следствием же их была та двойственность, та непрерывная цепь разочарований и новых надежд, та умиленная смесь негодования и восторга, которые доставили нашим сатирикам так много обломовской миловидности и так мало действительной силы...

Винить ли их за то, что они не умели вылечить больного? Требовать ли от них, чтобы они приняли на себя громадный труд изменить всю обстановку, благоприятствующую болезни? Нет, это было бы несправедливо и нелепо. Их можно упрекать в другом: зачем они придают своим утешительным фразам значение, которого они не имеют? Зачем они, повторяя много лет одни и те же фразы, наконец до того сами увлекаются ими, что говорят их даже не в смысле простого утешения, а прописывают в виде действительного лекарства? Наконец, зачем они так мало имеют последовательности, так поверхностно смотрят

на жизнь, что полагают, будто новейшими успехами гастрономии воспользуется желудок больного бедняка или что поднятие балтийского берега может на нынешнюю осень предохранить от наводнения жителей Галерной гавани?..

Несколько месяцев тому назад мы говорили о современной нашей сатире и выражали прискорбие о ее мелочности и поверхностности. Мы высказали убеждение, что от такой сатиры не выйдет истинной пользы для общества. Некоторые приняли наши слова за убеждение, что обличать вовсе не нужно и что сатира только портит эстетический вкус публики{8}. Но мы вовсе не то имели в виду: мы хотели сказать, что наша сатира *не то и не так* обличает... Плодить далее рассуждения об этой материи мы считаем крайне неудобным, потому что – известное дело – о настоящем времени всегда трудно произносить откровенное и решительное суждение, а у нас в настоящее время, когда поднято столько вопросов и сделано столько начинаний, подобное суждение положительно невозможно. Но если аналогия может к чему-нибудь

повести, то нам представляется в книге г. Афанасьева превосходный случай проследить один «эпизод из истории русской литературы», во многих отношениях аналогичский настоящему времени. Этот эпизод представляет нам сатира екатерининского периода. Книга г. Афанасьева, рассматривающая сатирические журналы того времени, дает нам очень много данных относительно того, что тогда делала сатира. К сожалению, он не обратил внимания на то, какие результаты произошли в самой жизни от столь ярких обличений. Но мы постараемся сделать за него несколько указаний из источников, всем постоянно доступных: из учебника русской истории г. Устрялова, из «Полного собрания законов»{9} и из нескольких журнальных статей, напечатанных в последнее время.

Век Екатерины долгое время являлся нам в каком-то волшебном сиянии, златым веком процветания России по всем частям. До недавнего времени наше внимание привлекалось только светлую стороною последней половины прошлого века. Созвание депутатов со всей России, Наказ, учреждение о гу-

берниях, громы суворовских и румянцовских побед, приобретение Крыма и Польши, развитие народного просвещения, процветание наук и художеств, оды Державина, поэмы Хераскова, комедии Фонвизина и самой Екатерины – все это преисполняло благоговением даже самую нечувствительную душу. Но «в настоящее время, когда» Россия вступает в новый период существования, и для екатерининской эпохи наступила уже история. Теперь уже нужны не дифирамбы, не безотчетные хвалы, а беспристрастное и спокойное рассмотрение фактов того времени во всей их полноте. Скрывать или искажать исторические факты, бывшие за сто или за восемьдесят лет назад, было бы крайне невежественным и зловредным, почти иезуитским поступком. Вот почему теперь беспрепятственно появляется в печати множество материалов для екатерининской истории, которые до сих пор не могли появиться в свет. В «Русской беседе» напечатаны «Записки» Державина {10}, в «Отечественных записках», в «Библиографических записках» и в «Московских ведомостях» недавно помещены были извлечения

из сочинений князя Щербатова{11}, в «Чтениях Московского общества истории» и в «Пермском сборнике» – допросы Пугачеву и многие документы, относящиеся к истории пугачевского бунта;{12} в «Чтениях» есть, кроме того, много записок и актов, весьма резко характеризующих тогдашнее состояние народа и государства; месяц тому назад г. Иловайский, в статье своей о княгине Дашковой, весьма обстоятельно изложил даже все подробности переворота, возведшего Екатерину на престол;{13} наконец, сама книга г. Афанасьева содержит в себе множество любопытных выписок из сатирических журналов – о ханжестве, дворянской спеси, жестокостях и невежестве помещиков и т. п. Выписки эти в прежнее время были невозможны; но теперь они являются в весьма значительном количестве, потому что «в настоящее время, когда» крестьянский вопрос принял уже такие обширные размеры и предан правительством такой широкой гласности, подобные исторические указания могут делаться совершенно безопасно. Опираясь на эти примеры, и мы решаемся раскрыть, насколько возможно по

скудости источников и другим обстоятельствам, истинное отношение сатиры екатерининского периода к самой действительности того времени и показать, каковы были результаты тогдашних литературных толков для последующей жизни народа и государства.

* * *

Ежели рассматривать сатиру екатерининского времени как нечто самобытное и серьезное и не обращать внимания на факты, противоречащие такому взгляду, то нельзя не удивляться ее силе и смелости, нельзя не прийти в восхищение и не подумать, что такая сатира должна была произвести благотворнейшие результаты для всей России. До таких именно убеждений и дошел г. Афанасьев, как видно из первых слов его книги.

Блистательное царствование императрицы Екатерины II, столько замечательное во всех отношениях, известно и своим благотворным влиянием на развитие отечественной литературы и журналистики. Успехи общественной жизни отразились и на серьезном

содержании многих литературных произведений, и на благородном их направлении. *Защита просвещения, борьба с невежеством и предрассудками, открытая и меткая насмешка над нравственными общественными недугами и глубокое чувство истинного патриотизма – вот те существенные стремления, которым служило перо лучших сочинителей того времени.*

Далее г. Афанасьев говорит, что «сатира, состоя в тесной связи с теми преобразованиями, какие задумывала и совершала великая Екатерина, бросала на восприимчивую почву русской народности живительное семя» (стр. 2). Какова была жатва, об этом г. Афанасьев не считает нужным распространяться; но, по его словам, надо полагать, что при таких благоприятных условиях и жатва должна быть очень хороша. Семя живительное и почва восприимчивая: чего же вам больше? Разве посторонние влияния могли мешать: градом побивало растительность, саранча налетала? Да и того не могло быть: ведь сатира «состояла в тесной связи с преобразованиями вели-

кой Екатерины!»! Очевидно по всем признакам: екатерининская сатира должна была принести прекраснейшие плоды.

И действительно, сами сатирики того времени были убеждены в громадности своего влияния на исправление общественных недостатков. Сознывая свою связь с правительственными преобразованиями, они не отделяли своего дела от дела Екатерины и твердо уповали на скорое водворение в России златого века, вследствие совокупных усилий правительства и литературы. Без этой приправы не обходилось у них ни одно обличение! Особенно восхищало их то, что при Екатерине уже не водили к пытке и не ссылали в Сибирь за каждое нескромное слово. «Читая твой листок, – писал кто-то к «Живописцу»{14}, – я плакал от радости, что нашелся человек, который против господствующего ложного мнения осмелился говорить в печатных листах. Великий боже! услыши моление восьмидесятилетнего старика, к счастью нашему продли дни премудрыя государыни!.. Куда бы ты попал, бедняжка, если б эту песню запел в то время, когда я был помоложе» («Живописец»,

ч. I, стр. 52). Это было напечатано в «Живописце» в 1772 году, то есть через десять лет по вступлении Екатерины на престол. Известно, что «Живописец» посвящен «сочинителю комедии» «О, время!», то есть самой Екатерине, и в посвящении этом прямо и положительно объясняется, что сатира принимает смелость обличать пороки именно вследствие поощрения государыни, как правительственного, так и литературного. Новиков, прикидываясь, что не знает, кто сочинил «О, время!», говорит здесь о Екатерине и как об авторе и как о правительнице, и одну восхваляет пред другим. Между прочим, он говорит автору комедии:

Вы первый с таким искусством и остротою заставили слушать едкость сатиры с приятностью и удовольствием; вы первый с такою благородною смелостию напали на пороки, в России господствовавшие... Продолжайте, государь мой, прославлять себя вашими сочинениями... Взгляните беспристрастным оком на пороки наши, закоренелые, худые обычаи, злоупотребления и на все развратные на-

ши поступки; вы найдете толпы людей, достойных вашего осмеяния; и вы увидите, какое еще пространное поле к прославлению вашему осталось.

Слова эти можно заметить как свидетельство писателя, что в 1772 году, несмотря на возгласы одописцев об Астрее^{15} и золотом веке, господствовало еще в России полное развращение, и сатира, упражнявшаяся над ним уже три года (считая с 1769, когда начались сатирические журналы), по-прежнему имела для себя еще «пространное поле». Впрочем, весь «Живописец» свидетельствует об этом еще лучше, и потому-то особенно любопытна та легкость, с которою и он, вместе с другими, поет хвалы «златому веку», наставшему тогда в России. Видно, что для «златого века» сатирики считали нужным только дозволение говорить о пороках... На это преимущественно и сводит Новиков свое увещание автору комедии «О, время!» насчет продолжения его писаний. Сказав об обилии наших пороков и злоупотреблений, он продолжает:

Вы первый достоин показать, что дарованная вольность умам российским

употребляется в пользу отечества. Но, государь мой, почто укрываете вы свое имя, имя, всеобщия достойное похвалы? Я никакие не нахожу к тому причины. Неужели, оскорбя столь жестоко пороки и вооружа против себя порочных, опасаетесь их злословия? Нет, такая слабость никогда не может иметь места в благородном сердце. И может ли такая ваша смелость опасаться угнетения в то время, когда, ко счастию России и ко благоденствию человеческого рода, владычествует наша премудрая Екатерина! Ее удовольствие, оказанное во представлении вашей комедии, удостоверяет о покровительстве ее таким, как вы, писателям. Чего ж осталось вам страшиться? («Живописец», ч. I, стр. IV).

Из этого, не совсем ловкого по нынешним понятиям, указания на удовольствие Екатерины, выраженное ею при представлении ее же пьесы, видно, как мало тогдашняя сатира имела собственной инициативы и как она нуждалась в меценатстве и поощрении сверху. Поощрение это действительно даваемо было Екатериною, разумеется, в тех пределах,

В каких она считала нужным и сообразным с своими видами, – и благодарные сатирики не могли без умиления отзываться о милостях премудрой монархини. Они беспрестанно хвалились ее покровительством и чрез то зажимали рот обскурантам, которым не нравилась свобода слова. «Живописец» изображает глупого и жестокого помещика, который пишет к сыну своему Фалалею: «Что за Живописец такой у вас проявился? Какой-нибудь немец, а православный этого не написал бы... О, коли бы он здесь был! То-то бы потешил свой живот: все бы кости у него сделал как в мешке! Что и говорить: дали волю!.. Тут небось не видят, и знатные господа молчат!» («Живописец», I, стр. 109). В «Трутне» упоминается *суевер*, называющий золотой век, в котором *позволено всем мыслить*, железным веком («Трутенъ», стр. 280){16}. Сама Екатерина придавала очень большую цену тому, что свобода слова не стесняется ею. В «Былях и небылицах», напечатанных в 1783 году (через десять лет после «Живописца»), она упоминает выходку *дедушки* против «разговоров, касающихся поправления того-сего». «В прежнее

время, по словам дедушки, разговоры сии вели вполголоса или на ушко, дабы лишней какой беды оные кому из нас не нанесли; следовательно, громогласие между нами редко слышно было; беседы же получали от того некоторый блеск и вид вежливости, которой следы не столь приметны ныне: ибо разговоры, смех, горе и все, что вздумать можешь, открыто и громогласно отправляется». «Для изъяснения сего дедушка говорит, что *будто мысли и умы, долго быв угнетены под тягостию тайны, вдруг, яко плотина от сильной водополи, прорвались*» (см. «Собес. люб. рос. сл.», ч. II, стр. 137). В «Собеседнике», издававшемся кн. Дашковой» под руководством самой Екатерины, также находится одно письмо, в котором: говорится: «Держитесь принятого вами единожды навсегда правила: не воспрещать честным людям свободно изъясняться. Вам нет причины страшиться гонений за истину под державою монархини,

*Qui pense en grand homme et qui i permet,
qu'on pense!*^{[1]{17}}

В то же время Державин прославлял свобо-

ду слова, данную Екатериной, в обращении к Фелице (Соч. Державина, стр. 308):

*Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и взявь, и под рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о себе не запрещаешь
И быль и небыль говорить{18}.*

К этому же великодушному «разрешению знать и мыслить» возвращается Державин и позже, в «Изображении Фелицы» (1789), влагая ей в уста следующие слова к народу (Державин, стр. 415):

*Я вам даю свободу мыслить
Не в рабстве, а в подданстве чис-
лить{19},
И в ноги мне челом не бить;
Даю вам право без препоны
Мне ваши нужды представлять,
Читать и гнать мои законы.
И в них ошибки замечать.*

Даже в оде на кончину Екатерины («Память ноября 1796 года»), сочиненной Капнистом (Сочинения его, стр. 309), мы находим

упоминание о том, что при ней

*Мы крылья мыслей расширяли,
Дерзая правду ей вещать{20}.*

Таким образом, во все время царствования Екатерины русская литература постоянно повторяла ту мысль, что писателям дана полная свобода откровенно высказывать все, что угодно. Мысль эта сделалась постоянным и непреложным мнением и много раз высказывалась и впоследствии, долго спустя после смерти Екатерины. Так, например, Карамзин в своей записке «О старой и новой России», указавши на свободу печати при Екатерине, приводит даже и объяснение этого явления в таком виде:

Уверенная в своем величии, твердая, непреклонная в намерениях, объявленных ею, будучи единственною душою всех государственных движений в России, не выпуская власти из собственных рук, без казни, без пыток влияв в сердца министров, полководцев, всех государственных чиновников живейший страх сделаться ей неудобным и пламенное усердие заслуживать ее ми-

лость, Екатерина могла презирать легкомысленное злословие и позволяла искренности говорить правду. Сей образ мыслей, доказанный делами 34-летнего владычества, отличает ее царствование от всех прежних в новой российской истории. Следствием были: спокойствие сердец, успехи приятностей светских, знаний, разума (Карамзин, изд. Эйнерлинга, III, XLVII){21}.

Впрочем, было бы величайшим заблуждением думать, на основании возгласов тогдашних литераторов, будто при Екатерине можно было безнаказанно говорить и писать все, что только придет на ум. Напротив, императрица очень зорко следила за тем, чтобы в обществе и в народе не рассеивались понятия и слухи, несообразные с ее намерениями относительно устройства и управления государством. При самом восшествии ее на престол начали ходить в народе различные слухи, которые были ей неприятны. Вследствие того в 1763 году, июня 4, издан был указ «о воздержании каждому себя от непристойных званию его толкований и рассуждений» (П. С. З., № 11843) {22}. В этом указе говорится, между прочим:

Со дня самого вступления нашего на всероссийский престол, мы, богу содействующему, в сердце нашем никогда о пользе и добре наших подданных не пекусь, яко мать о детях своих, не оставим, в чем да управит и укрепит нас его же рука святая. Вследствие чего равное же желание и воля наша есть, чтоб все и каждый из наших верноподданных единственно прилежал своему знанию и должности, удаляясь от всяких продерзких и непристойных разглашений. Но противу всякого чаяния, к крайнему нашему прискорбию и неудовольствию, слышим, что являются такие развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем и спокойствии помышляют, но как сами заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных, и даже до того попускают свои слабости в безрассудном стремлении, что касаются дерзостно своими истолкованиями не только гражданским правам и правительству и нашим издаваемым уставам, но и самим

божественным узаконениям, не вообразая знатно себе ни мало, каким таковые непристойные умствования подвержены предосуждениям и опасностям.

Затем говорится, что «хотя таковые умствователи праведно заслуживают достойную себе казнь, яко спокойствию нашему и всеобщему вредные», но на первый раз монархиня обращается к ним лишь с «материнским увещанием», надеясь, что они сами постараются заслужить «благословение божие и монаршую милость, доверенность и благоволение»; в противном же случае обещает поступить с ними «по всей строгости законов». Подобные объявления с угрозами издавались не раз и в последующие годы. Источники чрезвычайно скудны насчет того, в какой мере исполнялись эти угрозы и много ли было людей, действительно захваченных в «вольных речах». Но некоторые сведения из истории нашей литературы и законодательства показывают, что указы Екатерины не оставались пустыми словами и этим очень резко отличались от сатирических возгласов тогдаш-

них восторженных обличителей. В марте 1764 года сожжен на площади с барабанным боем «пасквиль, выданный под именем высочайшего указа» и начинающийся словами: «Время уже настало, что лихоимство искоренить, что весьма желаю в покое пребывать, однако весьма наше дворянство пренебрегает...» и пр. (П. С. З., № 12089). В январе 1765 года (П. С. З., № 12313) повелено было сжечь на площади, чрез палача, непристойные сочинения, названные в указе «пасквилями», но не обозначенные никакими подробностями относительно их содержания. В мае 1767 года наказан плетьюми в Ярославле и сослан в Нерчинск дворовый человек Андрей Крылов за то, что держал у себя тот самый пасквиль, о котором был указ в марте 1764 года (П. С. З., № 12890). Неизвестно, на каких именно условиях дозволен был вообще выход книг в России до 1770 года. Но в этом году дано разрешение иностранцу Гартунгу на учреждение первой в России вольной типографии для печатания книг на иностранных языках, и в указе, данном по этому случаю, есть пункт, запрещающий ему выпускать из типографии какие

бы то ни было книги «без объявления для свидетельства в Академию наук и без ведома полиции». Русские же книги ему не дозволено печатать, «дабы прочим казенным типографиям в доходах их подрыву не было» (П. С. З., № 13572). Из этого видно, что размеры тогдашней книжной деятельности были весьма ничтожны, но что и те не были оставлены без строгого правительственного контроля. В 1776 году дано дозволение завести типографию и для русских книг иностранцам Вейбрехту и Шпору; а в 1780 году тот же Шпор получил разрешение завести типографию в Твери. В январе 1783 года дозволено наконец заводить вольные типографии кому угодно, *не спрашивая ни у кого дозволения*, только с тем, чтобы все печатаемые книги были свидетельствуемы Управою благочиния (П. С. З., № 15633). Это дозволение также было прославлено в свое время русскою литературою, и сама императрица придавала ему большое значение. В «Собеседнике», издававшемся ею в 1783–1784 годах, напечатаны были известные «Вопросы» Фонвизина{23}, между которыми был следующий: «Отчего у нас тяжущи-

еся не печатают тяжоб своих и решений правительства?» Екатерина отвечала с величественным лаконизмом: «Оттого, что вольных типографий до 1782 года не было». Этот ответ привел в восторг и умиление Фонвизина: сатирик увидел здесь косвенное дозволение частным лицам печатать судебные дела и решения. В особом письме^{24}, напечатанном в том же «Собеседнике» (ч. V, стр. 145), он красноречиво излагает пользу судебной гласности. «Ответ ваш, – пишет он, – подает надежду, что размножение типографий послужит не только к распространению знаний человеческих, но и к подкреплению правосудия. Да облобызаем мысленно, с душевного благодарностью, десницу правосуднейшия и премудрой монархини. Она, отверзая новые врата просвещению, в то же время и тем самым полагает новую преграду ябеде и коварству. Она и в сем случае следует своему всегдашнему обычаю; ибо рассечь одним разом камень претыкания и вдруг источить из него два целебные потока есть образ чудодействия, Екатерине II весьма обычный. Способом печатания тяжоб и решений глас оби-

женного достигнет во все концы отечества. Многие постыдятся делать то, чего делать не страшатся. Всякое дело, содержащее в себе судьбу имения, чести и жизни гражданина, купно с решением судебным, может быть известно всей беспристрастной публике; воздастся достойная похвала праведным судиям, возгнушаются честные сердца неправдою судей бессовестных и алчных» и пр.

Однако же судебные процессы не печатались у нас при Екатерине – неизвестно по каким причинам. Была одна попытка в 1791 году. Некто Василий Новиков стал тогда издавать «Театр судоведения, или Чтение для судей», в котором печатал замечательные судебные дела, иностранные и несколько русских, обыкновенно таких, в которых, по его выражению, «нельзя было *не восплескать* мудрости судей». Но очевидно, что это было совсем не то, о чем говорил Фонвизин, и оттого не удивительно, что издание В. Новикова не пошло и прекратилось по выпуске шести книжек. Для нас в этом издании замечательно то, что и в 1791 году говорились о гласности те же самые фразы, какие, как мы видели,

были в ходу в 1769 году. Вот, например, тирада из IV части: «Под покровом владычествующий на севере Минервы все части человеческих познаний достигают своего совершенства. Ободренные музы, будучи доступны к ее престолу, вещают ей о всем устами самый истины. Отверзаются врата Фемидина храма, вступают в него Минервины други; корыстолюбивый и незнающий судья трепещет, а достойный готовится к новому торжеству своих подвигов» («Театр судоведения», ч. IV, стр. 3–4).

Во всех подобных возгласах было очень много риторического самодовольства. Писатели того времени, не обращая внимания на публику, для которой они писали, не думая о тех условиях, от которых зависит действительный успех добрых идей, придавали себе и своим словам гораздо более значения, нежели следовало. Когда им позволяли сказать что-нибудь резкое, они были убеждены, что это означает желание осуществить на деле эти резкие слова. Но, разумеется, гораздо основательнее было бы судить об этом иначе, и мы не можем не привести здесь суждения

типографщика Селивановского, которое находится в его «Записках», помещенных в «Библиографических записках» прошлого года (№ 17, стр. 518). «Цензуры в то время (около 1790 года) не было, – пишет он, – книги рассматривались при управе или обер-полицмейстером, то есть предъявлялись, но не читались. *В ту пору книга была нечто пустое, неважное, и еще не думали, что она может быть вредна*». Глубокую справедливость этого замечания подтверждают факты, последовавшие за 1783 годом. Немедленно после дозволения, данного в этом году на открытие вольных типографий, их развелось очень много, и книжная деятельность чрезвычайно усилилась. Новиков, еще в 1779 году взявший на откуп московскую университетскую типографию и очень усердно печатавший в ней книги, теперь еще более расширил свою деятельность заведением собственной типографии – «компании типографической». Тут уже стали обращать серьезное внимание на литературу и несколько опасаться *свободоязычия*, которого Екатерина, как видно по всему, очень не любила. На вопрос Фонвизина: «Имея монарх-

иню честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом – удостаиваться ее милостей одними честными делами, а не отваживаться прояснить их обманом и коварством? Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а нынче имеют, и весьма большие?» – Екатерина отвечала: «Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имели; буде же бы имели, то начли бы на нынешнего одного десять прежде бывших» (Сочинения Екатерины, III, 31){25}. Подобное этому свободоязычие увидела она и в изданиях Новикова, и как скоро заметила, что оно может повести к каким-нибудь последствиям «для спокойствия ее и всеобщего вредным», то и решилась прекратить его. Уже в 1784 году, за напечатание неблагоприятной для иезуитов истории их ордена в «Московских ведомостях» (№№ 69–71), она выразила свой гнев на Новикова и велела отобрать эти листы «Ведомостей», объяснив причину своего гнева следующим образом: «ибо, дав покровительство наше сему ордену, не можем дозволить, чтоб от кого-либо малейшее предосуждение

оному учинено было» (см. «Москвитянин», 1843, № 1, стр. 241). В 1785 году наряжено было следствие над Новиковым, в 1786 году повелено было запретить в продаже некоторые книги, у него напечатанные и «наполненные странными мудрствованиями» (П. С. З., № 16362). Еще более гнев императрицы на литературу возбужден был известным «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева. Сентября 4-го 1790 года дан был указ о ссылке его на десять лет в Сибирь, «за издание книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умягчающими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изречениями противу сана и власти царской» (П. С. З., № 16901). В 1791 году, вследствие разных неблагоприятных расположений, должна была закрыться типографическая компания. В 1792 году Новиков посажен в Шлиссельбург, а некоторые из его друзей сосланы на житье в деревни. Наконец, в 1796 году, сентября 16-го, последовал именной

указ сенату «об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об учреждении на сей конец цензур и об упразднении частных типографий» (П. С. З., № 17508). В указе этом говорится, что, «в прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг, признано за нужное: 1) учредить цензуру в столицах и пограничных приморских городах, из одной духовной и двух светских особ составляемую; 2) частными людьми заведенные типографии, в рассуждении злоупотреблений, от того происходящих, упразднить, тем более что для печатания полезных и нужных книг имеется достаточное количество таковых типографий, при разных училищах устроенных». Эта мера уже слишком решительна; но Екатерина не опасалась на ней настаивать и за несколько дней до своей смерти, октября 22, подтвердила повеление об уничтожении вольных типографий (П. С. З. № 17523). Постановления о цензуре были развиты и организованы в царствование Павла. Но, в сущности, и эти меры Екатерины, при всей их крайности, не достигли це-

ли, как сознавалось потом само наше законодательство. Запрещение печатать книги в вольных типографиях было вызвано подозрениями, не имевшими прочного основания, как доказали последствия. Подозрения эти получили свою силу преимущественно вследствие опасений Екатерины, чтобы в России не отозвалось то волнение умов, которое в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия совершалось во Франции{26}. Но состояние тогдашнего русского общества вовсе не было таково, чтобы в нем могло развиваться что-нибудь серьезно опасное для существующего порядка. Книга Радищева составляла едва ли не единственное исключение в ряду литературных явлений того времени, именно потому, что она стояла совершенно одиноко, против нее и можно было употребить столь сильные меры{27}. Впрочем, если бы этих мер и не было, все-таки «Путешествие из Петербурга в Москву» осталось бы явлением исключительным, и за автором его последовали бы, до конечных его результатов, разве весьма немногие. Стало быть, с этой точки зрения, излишние строгости против тогдашнего кни-

гопечатания были совершенно не нужны: Екатерина ни в каком случае не могла страшиться неблагосклонных отзывов и «противных ее и всеобщему спокойствию» выходов со стороны литературы, которая всегда так усердно и громко прославляла ее и всегда была готова беспрекословно следовать по указанному от нее направлению. Если же предположить другую цель строгостей Екатерины, то есть ту, чтобы вообще менее писали и рассуждали, то в этом отношении ее меры вовсе не достигли цели. Русское общество даже и в то время так уже привыкло «читать книгу», что невозможно было вовсе лишить его «книги», выгнать «книгу» из государства... Что бы там ни печаталось, что бы ни говорилось, до этого обществу дела еще не было; но «книга» была ему нужна. Вследствие того в самом указе об упразднении всех вольных типографий упомянуто об оставлении «достаточного количества типографии при училищах, для напечатания нужных и полезных книг», и, кроме того, дано дозволение «быть типографиям в губерниях при наместнических правлениях, для облегчения тамошних

канцелярий». По свидетельству Сопикова (Опыт русской библиографии, том I, стр. СХХ) {28}, все упраздненные типографии немедленно и разошлись по губерниям. Кроме того, найден был, разумеется, и другой способ распространения в публике сочинений, которые почему-нибудь имели для нее интерес {29}. Вследствие всего этого император Александр, вскоре по вступлении своем на престол, указом 9 февраля 1802 года, снова дал дозволение привозить из-за границы все иностранные книги и заводить повсеместно вольные типографии. В указе этом находится прямое и откровенное указание на причины, вызвавшие распоряжение императора. Упомянув сначала о запрещении 1796 года, указ продолжает: «Но как, с одной стороны, внешние обстоятельства, к мере сей правительство побудившие, прошли и ныне уже не существуют, а с другой – пятилетний опыт доказал, что средство сие было и весьма недостаточно к достижению предполагаемой им цели, то по уважениям сим и признали мы справедливым, освободив сию часть от препон, по времени соделавшихся излишними и бесполезными,

возвратить ее в прежнее положение...» Далее, после разрешения вновь заводить вольные типографии и печатать в них всякие книги с освидетельствованием Управы благочиния, в указе повелевается – «цензуры всякого рода, в городах и при портах учрежденные, *яко уже ненужные, упразднить*» (П. С. З., № 20139). Вскоре после того, в 1804 году, издан первый цензурный устав, усовершенствованный потом в 1828 году.

Таким образом, обращаясь снова к литературе, и преимущественно сатире, екатеринского времени, мы должны сказать, что сатирики были не совсем правы, воображая, будто им так уж и позволят печатать все, что бы ни пришло в голову. Но за это, разумеется, нельзя строго судить их: во-первых, после Бирона, после ужасного «слова и дела»^{30}, та льгота, какая была дана при Екатерине, должна была показаться верхом всякой свободы, во-вторых, литература наша в то время была еще так нова, так несовершеннолетняя, что не могла не увлекаться и не обольщаться, когда ей давали позволение поиграть и порезвиться, и очень легко могла верить в мировое зна-

чение своих забав. Притом же большая часть тогдашних литераторов даже и не видела грани, которая отделяла дозволенное им, игрушечное, от непозволенного, серьезного. И почти ни у кого не являлось охоты переступить эту грань, потому что вся литература тогда была делом не общественным, а занятием кружка, очень незначительного...

При таком положении дел может быть странно только одно: каким же образом сатирики и в течение десятков лет могли оставаться в столь забавной иллюзии, воображая, что от их слов может произойти «поправление нравов» в целой России? Но и это объясняется довольно удовлетворительно двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что сатира не отделяла своего дела и своих стремлений от идей и распоряжений правительства, подававших, особенно сначала, весьма большие надежды; во-вторых, тем, что, раз ставши под покровительство «премудрой Минервы», сатирики того времени могли позволять себе, в самом деле, значительную свободу в своих обличениях частных недостатков и злоупотреблений. Оба эти обстоятельства требуют

несколько подробнейшего рассмотрения. Восшествие на престол императрицы Екатерины, как можно видеть даже из учебника Устрялова (ч. II, стр. 163–167), совершилось столь счастливо потому всего более, что предшественник ее навлек на себя своими распоряжениями всеобщее негодование. До сих пор не были у нас изображены все обстоятельства ее вступления на царство; но недавно г. Иловайский, по давно известным источникам иностранным, напечатал и на русском языке почти все подробности этого дела (см. «Отечественные записки», 1859, № IX){31}, и, следовательно, о них можно говорить положительнее. Впрочем, нам даже нет надобности говорить от своего лица: стоит только привести две выдержки из манифеста, изданного Екатериною тотчас по вступлении на престол, и нам будет совершенно ясно, в каком положении становилась она с самого начала пред лицом своих подданных. В начале манифеста она указывает на общее неудовольствие русских против Петра и затем продолжает описывать его поступки следующим образом (Указы Екатерины II с 1762 по 1763 год, стр.

18):

Между тем, когда все отечество к мятежу неминуемому уже противу его наклонялося, он паче и паче старался умножать оскорбление развращением всего того, что великий в свете монарх и отец своего отечества, блаженный и вечно незабвенный памяти государь император Петр Великий, наш вселюбезнейший дед, в России установил и к чему он достиг неусыпным трудом тридцатилетнего своего царствования, а именно: законы в государстве все пренебрег, судебные места и дела презрел и вовсе о них слышать не хотел, доходы государственные расточать начал не полезными, но вредными государству издержками, из войны кровопролитной начинал другую, безвременную и государству Российскому крайне бесполезную, возненавидел полки гвардии, освященным его предкам верно всегда служившие, превращать их начал в обряды неудобноносимые, которые не токмо храбрости военной не умножали, но паче растравляли сердца болезненные всех верноподданных его войск и усердно за веру и отечество

служащих и кровь свою проливающих. Армию всю раздробил такими новыми законами, что будто бы не единого государя войско то было, но чтоб каждый в поле удобнее своего поборника губил, дав полкам иностранные, а иногда и развращенные виды, а не те, которые в ней единообразием составляют единоподушие. Неутомимые и безрассудные его труды в таковых вредных государству учреждениях столь чувствительно напоследок стали отвращать верность российскую от подданства к нему, что ни единого и народе уже не оставалось, кто бы в голос с отвагою и без трепета не злословил его и кто бы не готов был на пролитие крови его. Но заповедь божия, которая в сердцах наших верноподданных обитает к почитанию власти предержащей, до сего предприятия еще не допускала, а вместо того все уповали, что божия рука сама коснется и низвергнет утеснение и отягощение народное его собственным падением.

Рассказавши затем всю историю переворота и приведши вполне письмо Петра, в котором он отрекается от престола, Екатерина пе-

реходит к объяснениям относительно ее собственных намерений и понятий о власти, ею принятой. Вот заключение манифеста (Указы, стр. 22–23):

Таковым, богу благодарение, действием престол самодержавный нашего любезного отечества приняли мы на себя без всякого кровопролития, но бог един и любезное наше отечество чрез избранных своих нам помогали. В заключение же сего неисповедимого промысла божия мы всех наших верных подданных обнадеживаем всемилоштивейше, что просить бога не оставим денно и ношно, да поможет нам поднять скипетр в соблюдение нашего православного закона, в укрепление и защищение любезного отечества, в сохранение правосудия, в искоренение зла и всяких неправд и утеснений, и да укрепит нас на вся благая. А как наше искреннее и нелицемерное желание есть прямым делом доказать, сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол: то таким же образом

здесь наиторжественнейше обещаем нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка, и тем уповаем предохранить целость империи и нашей самодержавной власти, бывшим несчастьем несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству сынов вывести из уныния и оскорбления. *Напротиву того, не сомневаемся, что все наши верноподданные клятву свою пред богом не преступят в собственную свою пользу и благочестие, почему и мы пребудем ко всем нашим верным подданным непременно нашею высочайшею императорскою милостию.* Дан в Санктпетербурге июля 6-го дня, 1762 года.

Понятно значение подобного манифеста: взяв в свои руки власть от человека, которым были недовольны, Екатерина, очень есте-

ственно, старается показать всем, что в ее руках эта власть не будет уже источником недовольства. Вследствие этого она «наиторже- ствеинейше обещает» сделать такие постановления, которые «сохранят добрый во всем порядок и предохранят целостность империи и самодержавной власти». Последнее указание очень важно: оно доказывает, что обещания императрицы не были фразой, довольно обыкновенною в подобных случаях, а вызваны были действительною необходимостью. Она чувствовала, что ей нужно добрым управлением сохранить и упрочить свою власть, и поспешила всенародно высказать свое убеждение. Таких данных уже совершенно достаточно было образованным людям того времени – и особенно писателям, людям скромным и негосударственным – для того чтобы предаться отрадным ожиданиям и даже представить себе уже осуществленную мечту далекого будущего о златом веке. И нельзя сказать, чтоб их мечты не имели основания: в первые годы царствования Екатерины каждый сколько-нибудь важный указ ее начинался заявлением материнской ее забот-

ливости о благе народном, и во многих указах действительно делались льготы и улучшения, какие были нужны по тогдашнему времени. Одно уничтожение тайной канцелярии было уже такою мерою, которая способна была внушить всякому наилучшее расположение к правительству и полное доверие к его гуманности. Известно, какое страшное орудие составляла тайная канцелярия, вместе с «словом и делом», в руках клеветов Бирона; известно также, что не один Бирон пользовался этим ужасным средством держать всех в безмолвном страхе и повиновении. Со времен Петра I тайные канцелярии, под разными названиями, постоянно, в течение полвека, были страшилищем народа. Петр III, вскоре по вступлении на престол, указом 21 февраля 1762 года, уничтожил ее (П. С. З., № 11445), но Екатерина новым указом, 19 октября того же года (П. С. З., № 11687), еще раз ее уничтожила и вторично запретила ненавистное «слово и дело», повторивши слово в слово весь указ о том Петра III. В указе этом, по обычаю того времени, излагаются и побудительные причины принятого решения. На-

Чало указа таково:

Всем известно, что к учреждению тайных розыскных дел канцелярий, сколько разных имен им ни было, побудили вселюбезнейшего нашего деда, государя императора Петра Великого, вечной славы достойный памяти, монарха великодушного и человеколюбивого, тогдашних времен обстоятельства и неисправленные еще в народе нравы. С того времени от часу меньше становилось надобности в помянутых канцеляриях. Но как тайная розыскных дел канцелярия всегда оставалась в своей силе: то злым, подлым и бездельным людям подавался способ или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни и наказания, или же зlostнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей. Мы, последуя нашему человеколюбию и милосердию и прилагая крайнее старание не токмо неповинных людей от напрасных арестов, а иногда и самых истязаний защитить, но паче и самым злонравным пресечь пути к произведению в действие их ненависти, мщениа и клеветы, а пода-

вать способы к их исправлению, повелеваем: тайной розыскных дел канцелярии не быть, и оную совсем уничтожить; а дела, буде иногда такие случатся, кои до сей канцелярии принадлежали б, смотря по важности, рассматриваны и решены будут в сенате. Но дабы сия наша милость для всех добрых и верных подданных совершенное действие имела, а напротиву того не показалось бы бесстрашно составлять, хотя и тщетные и всегда на собственную погибель злодеев обращающиеся, умыслы противу нашего императорского здравия, персоны и чести нашего величества, то есть первого указом 1730 года, апреля 14 дня, описанного пункта, или же завести бунт, или сделать измену против нас и государства, то есть второго, тем же указом истолкованного пункта: то восхотели мы чрез сие точнее объявить наши соизволения; и потому: 1) Вышеупомянутая тайных розыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсегда; а дела оной имеют быть взяты в сенат; но за печатью к вечному забвению в архиву положат-

ся.

2) Ненавистное выражение, а именно: «слово и дело», не долженствует значить отныне ничего; и мы запрещаем не употреблять оно никому. А если кто отныне оно употребит в пьянстве, или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказывать так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники.

3) Напротиву того, буде кто имеет действительно и по самой правде довести о умысле по первому или второму пункту: такой должен тотчас в ближайшее судебное место или к ближайшему ж воинскому командиру немедленно явиться и донос свой на письме подать; а только в случае, есть ли кто не умеет грамоте, тот может доносить словесно, однакож не инако, как тем же порядком, то есть пришед в ближайшее судебное место или к воинскому командиру, со всяким благочинием.

Далее говорится подробно о том, как поступать с доносчиками, чтобы дознаться, справедлив ли донос. Доносчика велено брать под

караул, расспрашивать – впрочем, без пытки, исследовать его прежнюю жизнь и поведение, делать строгую поверку его слов, не принимать доносов от преступников пред казнью, за ложный донос наказывать и пр. Словом, меры для отвращения клевет и ложных доносов приняты самые благоразумные. В заключение говорится: «Объявляем притом точно нашим императорским словом, что за справедливый донос всегда учинено будет, смотря по важности дела, достойное награждение, а напротиву того – виновные, также смотря по делу, или нарочно учреждаемою на то время комиссиею, или же каким учрежденным уже судебным местом по сущей правде и справедливости судимы будут...»

Читая этот указ в 1762 году, современники, разумеется, не могли предвидеть, что через несколько лет явится на поприще полицейских исследований знаменитый Шешковский и что последующие обстоятельства заставят саму же Екатерину восстановить, к концу своего царствования, уничтоженную ею тайную канцелярию – под именем тайной экспедиции. Да если б это и могли предвидеть, то все-

таки не могли не радоваться при данном облегчении, хотя бы и на краткое время.

Но не одно уничтожение тайной канцелярии привлекло к Екатерине сердца ее подданных в самом начале ее царствования. Она и вообще каждым своим распоряжением напоминала, что она, по ее выражению в «Секретнейшем наставлении» кн. Вяземскому, при определении его генерал-прокурором (см. «Чтения Московского общества истории», 1858, кн. I. Смесь, стр. 101), «иных видов не имела, как наивящее благополучие и славу отечества; иного не желала, как благоденствия своих подданных, какого бы звания они ни были». В указе «о выходе беглым из-за границы», данном 19 июля 1762 года, то есть через три недели по вступлении Екатерины на престол, она говорит: «Положили мы главным намерением нашим, чтоб всегдашнее старание иметь о целости нашея империи и о благоденствии верных подданных наших, чему мы и действительные опыты в краткое время государствования нашего показали, и впредь еще больше, да и с великим удовольствием, о том попечение прилагать не оста-

вим» (П. С. З., № 11618). И действительно, немедленно по вступлении на престол Екатерина отменила разные обременительные положения, утвержденные Петром III относительно гвардейских полков, увеличила жалованье и пайки солдатам некоторых полков, велела понизить повсюду цену соли, объявила амнистию всем беглым, скрывавшимся в Польше и Литве, установила апелляционные сроки для тяжёбных дел, издала подробный указ «о коммерции, торгах и откупах», в отмену указа Петра III от 28 марта, в котором оказались «многие неудобства, клонящиеся ко вреду и тягости общенародной» (П. С. З., № 11630); повелела, «вместо бывших сыщиков, сделать в губерниях и провинциях *благопристойнейшее* учреждение, как бы воров и разбойников искоренять» (П. С. З., № 11634); весьма резко и энергически восстала против лихоимства... Словом, почти с каждым днем являлись новые знаки ее заботливости о благосостоянии государства, и при этом нужно еще заметить, что Екатерина нисколько не старалась замаскировать печальное положение, в котором она застала государство, при-

нимая власть в свои руки. Напротив, она сама старалась выставлять сколько можно резче существовавшее до нее зло, чтобы тем более заставить ценить те меры, какие принимались ею для уничтожения этого зла. Вот, например, манифест ее «о лихоимстве», данный 18 июля 1762 года, спустя двадцать дней после воцарения Екатерины. Сила и откровенность его должны поразить удивлением даже и современного читателя, для которого тогдашнее положение дел есть уже предание чуть не мифологическое.

Божиим содействием престол наш утвердивши, вступили мы делом самым в правление всего государства, тем усерднее, чем больше народное обременение и государственные нужды того от нас востребовали.

Мы уже манифестом нашим от 6-го сего месяца объявили всенародно и торжественно, что наше главное попечение будет изыскивать все средства к утверждению правосудия в народе, которое есть первое от бога нам преданное святым его писанием повеление, дабы милость и суд мы оказы-

вали всем нашим подданным и сами себя непостыдно оправдать могли пред богом, в хождении по заповеди его. Сие есть путь наш непорочный, которым мы, изыскивая блаженство нашего народа, ищем достигнуть будущего вечного за то воздаяния. Почему за долг себе вменяем непреложный и непременный объявить в народ с истинным сокрушением сердца нашего, что мы уже от давнего времени слышали довольно, а ныне и делом самым увидели, до какой степени в государстве нашем, лихоимство возросло, так что едва есть ли малое самое место правительства, в котором бы божественное сие действие (суд) без заражения сей язвы отправлялося. Ищет ли кто места, платит; защищается ли кто от клеветы, обороняется деньгами; клеветает ли на кого кто, все происки свои хитрые подкрепляет дарами. Напротиву того: многие судящие освященное свое место, в котором они именем нашим должны показывать правосудие, в торжище превращают; вменяя себе вверенной от нас звание судии бескорыстного и нелице-

приятного за пожалованный будто им доход в поправление дому своему, а не за службу, приносимую богу, нам и отечеству, и мздоприимством богомерзким претворяют клевету в праведный донос, разорение государственных доходов в прибыль государственную, а иногда нищего делают богатым, а богатого нищим. Мы бы неправосудны были пред богом, ежели бы мы о всех наших верноподданных того же мнения были: но добросовестные и честные люди, которыми государство наше наполнено, не изменяют лица своего, слыша и читая сие наше с материнским соболезнованием негодование, а причастники сего зла, всеконечно, должны угрызение своей совести почувствовать тем паче, когда они воззрят только на наше действие, в котором нам бог предводительствовал, и на наше праведное перед богом намерение, с каким мы воцарилися. Не снискание высокого имени обладательницы Российской, не приобретение сокровищ, которыми паче всех царей земных нам можно обогатиться, не властолюбие и не иная какая ко-

рысть, но истинная любовь к отечеству и всего народа, как мы видели, желание нас понудили принять сие бремя правительства. Почему мы не токмо все, что имеем или иметь можем, но и самую нашу жизнь на отечество любезное определили, не полагая ничего себе в собственное, ниже служа себе самим, но все труды и попечение подъяем, для славы и обогащения народа нашего. В таком богоугодном намерении для отечества нашего, сколь трудно бы было нам царствовать, ежели бы правосудие на судах не содействовало нашему желанию, и сколь притом огорчительно, когда мзда и корысть оными обладают в сердцах таковых злонравных, которые, забыв многие предков наших блаженной и вечнодостойной памяти государей, а особливо деда нашего вселюбнейшего, государя императора Петра Великого, строжайшие о лихоимстве указы, судей недостойно, а лихоимцев праведно имя носят и свою алчбу к имению, служа не богу, но единственно чреву своему, насыщают мздоприимством, льстя себя надеж-

дою, что все, что они делают по ласкомству, прикрыто будто добрым и искусным канцелярским или приказным порядком, а сердцеведца бога не памятуя, судью всевышнего, который все злые их помышления и советы открывает путями неизвестными и нас самих, яко законоположительницу, наконец побудит на гнев и отмщение. Таковыми примерам, которые вкоренились от единого бесстрашия в важнейших местах, последуют наипаче во отдаленных находящиеся и самые малые судьи, управители и разные к досмотрам приставленные командиры, и берут с бедных самых людей не токмо за дела безвинные, делая привязки по силе будто указов, в самом же деле во зло только ими истолкованных, и разоряя их за то дома и имущества, – но и за такие, которые не инако, как нашего благоволения и милости высочайшей достойны, так что сердце наше содрогнулося, когда мы услышали от нашего лейб-кирасирского вице-полковника князя Михаила Дашкова, что в проезд его ныне из Москвы в Санкт-Петербург некто новгородский

губернской канцелярии регистратор Яков Ренбер, приводя ныне к присяге нам в верности бедных людей, брал и за то с каждого себе деньги, кто присягал; которого Ренбера мы и повелили сослать на вечное житье в Сибирь на работу, по единому только еще нашему матернему милосердию; потому что он за такое ужасное, хотя малокорыстное преступление праведно лишен быть должен живота.

Сильное, однако ж, наше на бога упование и природное наша великодушие не лишает нас еще надежды, чтоб все те, которые почувствуют от сего милосердаго к ним напоминания некоторое в совести своей обличение, не помыслили, сколь великое зло есть в государственных делах мздоприимство, а на суде, где правда божественная поборствовать должна, скверное лакомство и лихоимство; и потому, видя нашу умеренность матернюю ко всем верноподданным, не отчаиваемся, чтоб каждой, вразумя себе наше сие милостивое упоминание, не отринул от себя прежних поступков, ежели он ими заражен был. Но когда и после се-

го, что при вступлении нашем на престол, в совершенном еще незлобии сердца нашего, всем здесь лихоимцам и мздоприимщикам мы восхотели сделать увещание милосердное, не подействует оное в сердцах их окаменелых и зараженных сею пагубною страстию; то ведали бы они же, что мы установленным противу сего зла законам сами за правило себе примем и впредь твердо содержать будем повиноваться, не дав уже более милосердию нашему места.

Почему и никто обвиненный в лихоимстве (ежели только жалоба до нас дойдет праведная), яко прогневающий бога, не избежит и нашего гнева, так как мы милость и суд в пути непорочном царствования нашего богу и народу обещали. Дан в Санктпетербурге, июля 18 дня 1762 года.

Трудно вообразить себе что-нибудь более решительное, самоуверенное и откровенное, чем этот манифест. Здесь не только прямо указывается зло, не только делаются обещания в общих словах, но далее называется по имени преступник, сообщается во всеобщее

сведение сделанное ему наказание и прямо объявляется, что манифест этот издан именно для предупреждения других от подобных поступков, за которыми последует строгое наказание. Но, не ограничиваясь и этим, императрица выказывает еще более искренности и откровенности, говоря, что самый способ ее восшествия на престол заставляет ее как можно более стараться о том, чтобы не возбуждать против себя неудовольствия, и что этого она не может иначе достигнуть, как позаботясь о водворении в государстве правосудия. Изъявления своих намерений, сделанные подобным образом, с представлением таких причин, необходимо должны были увлечь самых упорных скептиков, если бы таковые нашлись. И это тем более, что подобные расположения высказывались Екатериною не в одних торжественных манифестах и указах, но даже в секретных ее приказаниях ближайшим к ней лицам. В пример этого можно указать на «Секретнейшее наставление» кн. Вяземскому, данное ему при определении его в генерал-прокуроры и недавно напечатанное в «Чтениях». Наставление это по-

казывает, между прочим, и то, как зорко смотрела Екатерина на многие насущные вопросы и как хорошо понимала она всю совокупность государственного управления. Кн. Вяземский определен генерал-прокурором в 1764 году, и, следовательно, документ этот относится к самому началу царствования Екатерины. Приведем из него некоторые пункты («Чтения Московского общества истории», 1858, кн. I, стр. 101–104).

4-е. Все места, и самый сенат, вышли из своих оснований разными случаями, как неприлежаннем к делам моих некоторых предков, а более случайных при них людей пристрастиями. Сенат установлен для исполнения законов, ему предписанных, а он часто выдавал законы, раздавал чины, достоинства, деньги, деревни, одним словом, почти все, и утеснял прочие судебные места в их законах и преимуществах, так что и мне случилось слышать в сенате, что одной коллегии хотели сделать выговор за то только, что она свое мнение осмелилась в сенат представить, до чего, однако же, я тогда не допустила, но говорила господам при-

существующим, что им радоваться
надлежит, что закон исполняют.
Через такие гонения нижних мест они
пришли в толь великий упадок, что и
регламент вовсе позабыли, которым
повелевается: против сенатских указа-
зов, есть ли оные не в силе законов,
представлять в сенат, а напоследок и
к нам. Раболепство персон, в сих ме-
стах находящихся, неописанное, и
добра ожидать не можно, пока сей
вред не пресечется; одна форма лишь
канцелярская исполняется, и обдумать
еще и ныне прямо не смеют, хотя в
том часто интерес государственный
страждет. Сенат же, вышед единожды
из своих границ, и ныне с трудом при-
выкает к порядку, в котором ему
быть надлежит. Может быть, что и
для любочестия иным чинам прежние
примеры прелестны; однако же пока-
мест я живу, то останется как долг
велит. Российская империя есть столь
обширна, что, кроме самодержавного
государя, всякая другая форма правле-
ния вредна ей; ибо все прочие медли-
тельнее в исполнениях и многое мно-
жество страстей разных в себе име-

ют, которые все к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и почитающего общее добро своим собственным; а другие все, по слову евангельскому, наемники суть.

5-е. Весьма, по обширности империи, великая нужда состоит в умножении циркуляции денег; а у нас, по счетам монетного департамента, не более 80 000 000 рублей серебром в народе, которую сумму расположа по числу людей, придет по 4 руб. на человека, есть ли еще не менее. Разные были проекты, из которых наконец вышла медная монета, на которую много очень жалоб; однако ж, пока не будет знатного умножения серебра в государство, сей вред сносить должно, а паче в оном стараться надлежит, как уже начато, чтоб не было разного весу монеты, содержащей одинакую цену, так как и разных цен одного весу и металла, да чтоб серебро всевозможным способом вовлечь в государство так, как хлебным торгом, как о том и Комиссии о коммерции уже приказано.

6-е. О выписании серебра иного сказать не могу, как только, что сия материя весьма деликатна и многим о сем неприятно слышать; однако ж вам надлежит и в сие дело вникнуть. Все сие пишу, дабы вас ввести в наисекретнейшие материи, дабы вы в сем, при вступлении в дела, не новы были и могли сами разбирать, которые действительно полезны или только оными быть кажутся.

7-е. Труднее вам всего будет править канцеляриею сенатской и не быть подчиненными обмануту. Сию мелкость яснее вам чрез пример представлю. Французской кардинал де Ришелье, сей премудрый министр, говаривал, что ему менее труда править государством и Европу вводить в свои виды, нежели править королевскою антикаморю, понеже все праздноживущие придворные ему противны были и препятствовали его большим видам своими низкими интригами. Один для нас только способ остается, которого Ришелье не имел: переменить всех сомнительных и подозрительных без пощады.

8-е. Законы наши требуют поправления: 1-е) чтоб все ввести в одну систему, которой и держаться надлежит; 2-е) чтоб отрешить те, которые оной прекословят; 3-е) чтоб разделить временные и на персон данные, от вечных и непрременных. О сем уже было помышляемо, но короткость времени меня к произведению сего в действо еще не допустила.

9-е. Великое отягощение для народа есть соль и вино, на таком основании, как оные находятся. В корчемстве столько винных есть, что и наказывать их почти невозможно, понеже целые провинции себя оному подвергли; а что пресечь нельзя, не худо бы к тому изыскивать способы к поправлению и облегчению народному.

10-е. Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями, и нарушить оные отрешением всех вдруг весьма непристойно б было; однако ж и называть их чужестранными и обходиться с ними на таком же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью

глупость. Сии провинции, так же и Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они перестали глядеть, как волки к лесу.

Нет сомнения, что наставлений подобного рода, как письменных, так, еще более, изустных, немало составлено было Екатериною в первые годы ее царствования. Нет сомнения и в том, что они производили хотя некоторое действие и на тех, которые были исполнителями ее воли. Все должно было проснуться от давней дремоты; апатический застой невежественного общества должен был уступить место смелому и быстрому стремлению вперед, и улучшениям и усовершенствованиям во всех частях народного быта и государственного управления. Мы видели, что Екатериною было поднято чрезвычайно много существеннейших вопросов государственной жизни, что она не оставила без внимания ни финансы, ни торговлю и промышленность, ни положение войска, ни судопроизводство, ни законодательство. В особенности относительно законодательства она дала такие задатки своего мудрого попечения о

благе народа, что возбудила изумление целой Европы. Известен факт созвания ею комиссии для составления нового уложения. В январе 1767 года объявлено было, чтобы в течение полугода собрались в Петербург депутаты из всех провинций России, от всех племен и сословий, не исключая и крестьян. В июле действительно собрались депутаты, комиссия была открыта и получила себе в руководство знаменитый «Наказ» (П. С. 3., № 12945 и 12949). Комиссия составила из 645 депутатов; на нее отпущено было 200 000 рублей; в декабре 1768 года она приостановлена, ничего не сделавши. Срок окончания ее занятий несколько раз был отсрочиваем: сначала до 1 мая 1772 года, потом до 1 августа, потом до ноября, затем до 1 февраля 1773 года. Наконец, оказавшись совершенно неспособною к законодательству, комиссия для составления проекта нового уложения осталась только по имени; в 1796 году она была переименована Павлом I в комиссию составления законов, в 1804 году снова преобразована, и т. д. Но, несмотря на некоторую бесплодность созвания государственных сословий в 1767 году,

оно произвело в то время необыкновенный восторг не только в русских, но и за границею. «Наказ» обошел всю Европу, как блистательное свидетельство высоких качеств ума и сердца императрицы русской. Созвание (по выражению объяснителя к сочинениям Державина){32} «депутатов из всех народов, составляющих Российскую империю, от дальнейших краев Сибири, камчадалов, тунгусов, от каждой области по два человека, даже якутов и пр.» – оставило памятник по себе и в следующих стихах певца Екатерины (Державин, I, стр. 144):

*Ее изобрази мне ты,
Чтоб, сшед с престола, подавала
Скрижалей заповедь святых,
Чтобы вселенна признавала
Глас божий, глас природы в них;
Чтоб дики люди, отдаленны,
Покрыты шерстью, чешуей,
Пернатых перьем испещренны,
Одеты листьем и корой,
Сошедшия к ее престолу
И кротких вняв законов глас,
По желто-смуглым лицам долу
Струили токи слез из глаз...{33}*

Но особенно рельефно выразился всеобщий энтузиазм того времени к великому начинанию – в речи, которая произнесена была представителем всех депутатов, 27 сентября 1767 года, при поднесении императрице титула Премудрой, Великой, Матери отечества. Мы приведем из этой речи, помещенной в Полном собрании законов (№ 12978), две тирады: одна изображает мрачное положение России пред вступлением на престол Екатерины, другая – благоденствие отечества под ее правлением.

Плачевное отечества нашего состояние до преславного и навеки достопамятного восшествия богом избранный и венчанная всеавгустейшия нашей самодержицы на всероссийский императорский престол не токмо всем россиянам, но и целому свету известно. Когда мысленно воззрим на минувшее, дух в нас еще трепещет и падение империи живо представляется воображению. Видели мы веру поруганную, законы, приведенные в замешательство, правосудие, изнемогшее с падением законов, с правосудием истребленную

совесть и добронравие. Государственные доходы истощались, потеряна была довольность, и угнетена торговля; грабительство, лакомство, корыстолюбие и прочие пороки, покровительством многих лиц ободренные, возрастали с гибелью народа и усугубляли бедствия отечества нашего; и, наконец, везде неустройства торжествовали, где следовало царствовать порядку... Перемена дивная вдруг последовала! Радость прогнала тьму печалей!.. Со дня восшествия ее императорского величества на престол все дни ее можно исчислить благодеяниями: вреды и неустройства исправлены и прекращены; православная вера наша торжествует и зрит монархиню, дающую пример подданным во благочестии; правосудие царствует купно с ее величеством на Престоле; человеколюбие обитает в ее душе и без послабления смягчает строгость законов. Пороки исчезают, и корень их пресекается; но с кротостью исправляются нравы, просвещаются умы, и добродетели, под священную сению престола, процветают нужнейшие роду челове-

*скому искусству, земледелие и домо-
водство монаршим взором ободряют-
ся, торговля возрастает, и с нею
изобилие рукоделий умножается; вез-
де введены полезные учреждения, и сло-
вом – во всех частях государственных,
во всех делах разум и добродетели на-
шей великия государыни сияют и не об-
ретают ничего выше сил своих. Но, не-
чась о настоящем, премудрая наша са-
модержица печется и изливает благо-
деяния на времена и будущее... и пр.*

Эту речь можно назвать первообразом той сатиры, которая получила такое развитие в журналах 1769–1774 годов и рассмотрению которой посвящена книга г. Афанасьева. В речи депутатов мы видим две половины, противоположные одна другой: в первой излагается ужасное положение России до Екатерины, расстроенное до последней степени и грозившее падением империи; во второй прославляются невероятные успехи, совершенные Рос-сиею в пятилетний период от 1762 до 1767 го-да. Те же две стороны находим мы и в сатирических произведениях екатерининского вре-мени: все они с необычайною резкостью вос-

стают против, общественных пороков, но во всех выражается довольно ясно та мысль, что эти пороки и недостатки суть исключительно следствия старого неустройства, остатки прежнего времени и что теперь уже настала пора для их искоренения, явились новые условия жизни, вовсе им неблагоприятные. Эта мысль, положенная в основание всякого обличения, всякой сатиры, служит даже объяснением резкости тогдашних журналов, удивительной и для настоящего времени, когда наша гласность сделала такие огромные успехи. Сатирики 1770-х годов, проникнутые верою в близкое усовершенствование России, вследствие принятых императрицею мер, считали священным долгом содействовать путем литературным всем ее начинаниям. И чем более проникались он и благоговейным восторгом к действиям Екатерины, тем смелее и беспощаднее становилось их обличительное слово против старых злоупотреблений, потому что все доброе и полезное они соединяли с волею императрицы, а все злое и недостойное разумели как противоборство ее намерениям и желаниям. Таким образом, са-

тира на все современное общество являлась в мыслях благородных сатириков не чем иным, как особым способом прославления премудрой монархини. Указывая недостатки управления и карая вопиющие злоупотребления во всех родах, сатирики отнюдь не думали делать укоры самому правительству; напротив, они говорили: вот как презренны и низки некоторые люди, не понимающие благотворных видов монархини и не желающие им содействовать. И, отправляясь от этой мысли, сатирики уже не церемонились с безумными и порочными, в которых видели противников обожаемой монархини. Иногда обличения тогдашних журналов заключали в себе и прискорбную мысль о том, что так трудно прогрессивному правительству бороться с невежеством и недобросовестностью отсталых людей; но и это бывало очень редко. Чаще же всего горькие истины обличения скрашивались отрадным убеждением, что все-таки дело прогресса идет вперед и что скоро правда и свет одержат решительную победу над ложью и мраком. Издатель «Вечеров»{34} в самом начале своего журнала говорит о

том, что «ябеды узловатее становятся, а крючки больше растут, подъячие богатеют», и пр. Но вслед за тем он прибавляет: *«Однако вскоре воссияет истина, исчезнут совсем приказные сплетни, воспоют музы, прославят царствующую на земле Астрюю, прославят такими стихами, которые ее достойны, а недостойные умолкнут»* («Вечера», ч. I, стр. 5). Такие надежды – и не при начале только сатирических изданий, а во все продолжение царствования Екатерины – выражались нередко даже в виде положительной уверенности, хотя, обращаясь к действительности, сам автор тут же находил вещи, совершенно нейдущие к золотому веку. Так, например, Василий Новиков, в посвящении своего «Театра судоведения» (1791 г.), говорит: *«Во дни благословенного державствования в стране, где царствует правосудие и торжествует невинность, где изгоняется порок и водворяется добродетель, где низится невежество и возвышается просвещение, в сии дни блаженства я рожденный и воспитанный приемлю смелость»*, и пр. ...А через несколько страниц, в заключение своего предисловия, он же пишет: *«Вели-*

ким бы почел я торжеством для моих трудов, если бы чтение сей книги заступило место карточной игры и других пустых времяпровождений, столь мало приличных важности судейского звания» («Театр судоведения», ч. I, стр. 5–6). Сличения подобных мест могут наводить на мысль, что восторги тогдашних писателей были не более как риторическою фразою, которая ставилась, может быть, с умыслом, чтобы под ее защитою смелее поражать пороки. Но такое заключение будет несправедливо: характер всей сатиры екатерининского времени отличается самым искренним уважением к существующим постановлениям и преследованием исключительно одних только злоупотреблений. Доказательством этого служит и манера обличений, и даже внешняя история сатиры. Замечательно, что прекращение сатирических журналов совпадает с концом первой турецкой войны и усмирением пугачевского бунта. В первые годы царствования Екатерины было чрезвычайно много материалов для сатиры, потому что много было людей, осмеливавшихся восставать против правления Екатерины. В 1762

году разносились по России ложные слухи о ее намерениях, издавались фальшивые манифесты, волновались крестьяне разных местностей, как видно из указов по этим предметам, данных чуть не в первые дни царствования Екатерины. В 1763 году составлен был целый заговор Хрущевыми и Гурьевыми,{35} в 1764 году произошла попытка Мировича{36}. С этих пор в течение десяти лет постоянно каждый год выходило по несколько указов – то о публичном сожжении пасквилей и о наказании тех, у кого они окажутся, то о предостережении от продерзких речей, то об усмирении крестьян, увлекшихся ложными слухами. В 1771 году было серьезное волнение по поводу моровой язвы,{37} наконец, в 1773 году разразился пугачевский бунт... Все это очень беспокоило тогдашнее правительство, и Екатерина прилагала все старания, чтобы своими распоряжениями привлечь к себе сколько можно более приверженцев и предупредить могшее возродиться недовольство. Одним из орудий ее в этом деле была литература. Конечно, в тогдашнем обществе литература почти ничего не значила; но к ней обра-

тились, вероятно, отчасти вообще по естественной людям склонности к благоприятной для них гласности, а всего более – по соображению того, какое значение имела литература, и особенно сатира, во французском обществе. Видя, как француз боится насмешки, зная, какое страшное влияние имел Вольтер, надеялись, вероятно, что и в России сатира может занять довольно почетное место в ряду других средств, служащих к уничтожению противников благих мер Екатерины. Этим отчасти может быть объяснено даже то усердие, какое сама она прилагала к сочинению комедий и сатирических безделиц, под названием «Былей и небылиц». Но в видах Екатерины вовсе не было того, чтобы дать литературе неограниченное право рассуждать о политических предметах и смеяться над всем, что не будет нравиться писателям. Она очень не любила, когда под видом гласности в литературу прокрадывались какие-нибудь «продерзкие речи». Вот почему, когда внутреннее спокойствие было совершенно восстановлено, а конец первой турецкой войны возвеличил имя Екатерины и в Европе, когда остатки старого

недовольства и недоверия к ней стали ей уже не страшны, она охладела к сатире, как к вещи уже ненужной и могущей быть только вредною для ее спокойствия. С 1773 года она перестала писать комедии и возвратилась к этому занятию только уже через десять лет, когда, вместе с княгиней Дашковой, вздумала подвинуть вперед русскую науку заведением Российской академии. В 1774 году прекращаются и сатирические журналы. Разумеется, сатира, раз явившись, все-таки не могла быть совершенно уничтожена, но по крайней мере с этих пор нет уже у нас того внешнего признака, по которому можно следить действия сатиры шаг за шагом и судить о ее распространении в обществе и о степени успеха, — нет более периодических изданий, отличающихся сатирическим характером. Мы не имеем никаких данных, по которым бы можно было утверждать, что сатирические издания вообще после 1774 года подвергались у нас каким-нибудь официальным стеснениям и преследованиям. Но самый их характер объясняет до некоторой степени их падение. Они были живы, блестящи, эффектны, интересны,

даже дерзки до тех пор, пока имели дело с остатками отжившего порядка, против которого шла сама Екатерина. Над этими остатками и потешались они в течение пяти лет. Но мало-помалу люди старого времени заменились людьми свежими, противники нового направления удалены, в силу вошли его приверженцы, приняты меры, каких прежде не было, сделаны преобразования в старинном порядке. Если теперь и были в администрации и в обществе недостатки, то недостатки эти уже нельзя было сваливать на старое время: нужно было говорить прямо против существующего порядка. А этого-то и не могла тогдашняя сатира; до этого-то и не доросла она, не доросло и само общество, в котором приходилось ей действовать. Ясно, что круг ее действий должен был очень сузиться: она могла, например, восставать против ужасов пытки, когда сама императрица неоднократно высказывала отвращение от этой ненавистной судебной меры (см., например, два указа 15 января 1763 года); но когда потом обстоятельства привели к восстановлению тайной экспедиции и когда явился страшный Шешков-

ский, тогда, разумеется, кричать против пытки стало не очень повадно. Сатирики не хотели подвергаться опасности и молчали. Подобного рода обстоятельства парализовали смелость и откровенность сатиры и в отношении к другим предметам. Таким образом, значение сатирических изданий потерялось в публике: сатиры на дурных стихотворцев, на подражателей французам, на скупцов и мотов, на хвастунов и рогатых мужей и т. п., конечно, оставались в полном распоряжении литературы; но эти предметы не могли уже так занять публику, как обличение дурных судей, помещиков, попов, вельможной спеси и невежества, пыток, ханжества и т. п. Зато, вместо новых журналов, в течение многих лет и перепечатывались те из старых в которых с особенной резкостью затрогивались эти предметы. Особенный успех имели «Живописец», «Трутень» и «Вечера». «Живописец» имел шесть изданий, последнее – в 1829 году!

{38}

Мы сказали, что, кроме внешней истории екатерининской сатиры, самая манера ее служит доказательством того, что тогдашние са-

тирики не любили добираться до корня зла и могли поражать пороки только под покровом «премудрой Минервы, позволявшей им знать и мыслить». Манера эта не совсем незнакома нам: она состояла главным образом в употреблении *задних чисел*. Существующее зло обличалось обыкновенно как исключительное явление, составляющее странную аномалию с существующим порядком. Трудно объяснить положительно, отчего это происходит. Иногда такая манера бывает неискренни, и тогда она совершенно понятна; но у тогдашних сатириков замечается при этом какое-то трогательное простодушие. Они, кажется, до того увлекались созерцанием будущих благополучий, что наконец воображали их уже наступившими и, принимая слова за дела, считали все гадости действительного мира лишь дряхлыми остатками прежнего, отживающими последние дни. Так, описывается ли у них судья-взяточник, он уже непременно отставлен и бранится за это; говорится ли о своемольном помещике, он непременно представляется сожалеющим о том, что теперь уже нет прежнего простора для его произвола;

осмеиваются ли подлость и ласкательство – тут же неизбежно прибавляется замечание, что теперь уж этими качествами нельзя выйти в люди, как прежде. В «Вечерах», например, один господин рассуждает: «Я свое благополучие считаю в том, когда меня большие бояре ласкают. Правду сказать, я до сего счастья с великим трудом достигаю, *особливо в нынешнее время*: как я ни хвалю их в глаза, как я ни стараюсь услуживать им, но все не клеится». К этому услужливому господину пристаёт судья, отставленный за взятки, и ведет такую речь: «Правду ты говоришь, что ныне услуги не награждаются: тому примером я служить всем могу. Я знаю все указы наизусть, умею их толковать по своему желанию; но, *несмотря на сие, меня отставили...* Ведь, кажется, все равно государству, что у меня деньги в кармане, что у того, с кого взял; *но в нынешнее время об оном не рассуждают*» («Вечера», II, 173). В «Вечерах» же изображается господин *Оттягов*, который «всех меньше дело смыслил, всех чаще на поклоны ездил и за сии великие достоинства получил чистую отставку» («Вечера», I, 57). В «Живописце»

напечатан целый ряд писем к Фалалею от уездных дворян, его отца, матери и дяди. Весь смысл этих писем заключается в том, что нынешнее время не так благоприятно для своевольства, жестокостей, обманов и пр., как прежнее блаженное время. Это похоронный плач о погибшей дворянской воле, это вопль проклятия просвещению и правде, торжественно и незыблемо воцарившимся в области тьмы и застоя. В книге г. Афанасьева приведено в разных местах много выписок из этих писем, а на стр. 139–145 три письма помещены вполне. Письма эти очень замечательны по мастерству своего лукавого юмора; и мы также решаемся привести отрывок одного из них, хотя он и довольно длинен.

Сыну нашему Фалалею Трифоновичу от отца твоего Трифоиа Панкратьевича, и от матери твоей Акулины Сидоровны, и от сестры твоей Варюшки низкой поклон и великое челобитье. Пиши к нам про свое здоровье: таки так ли ты поживаешь, ходишь ли в церковь, молишься ли богу и не потерял ли ты святцев, которыми я тебя благословил. Береги их; ведь это не

шутка: меня ими благословил покойник дедушка, а его – отец духовной, Ильинской батька. Он был болен черною немочью и по обещанию ездил в Киев: его бог помиловал, и киевские чудотворцы помогли; и он оттуда привез этот канонник и благословил дедушку, а он его – возом муки, двумя тушами свиными да стягом говяжьим. Не тем-то покойник свет будь помянут! он ничего своего даром не давал: дедушкины-то, свет, грешки дорогоньки становились. Кабы он, покойник, поменьше с попами водился, так бы и нам побольше оставил. Дом его был как полная чаша, да и тут процедили. Ведь и наш батько Иван, кабы да я не таков был, так он бы готов хоть кожу содрать: то-то поповские завидливые глаза: прости господи мое согрешение! А ты, Фалалеюшка, с попами знайся, на берегись: их молитва до бога доходна, да убыточна... Как отпоет молебен, так можно ему поднести чару вина да дать ему шесть денег, так он и доволен. Чего ж ему больше: прости господи, ведь не рожна? Да полно нынече и винцо-то в сапогах ходит;

экое времечко; вот до чего дожили; и своего вина нельзя привезть в город; пей-де вино государево с кружала да делай прибыль откупщикам. Вот какое рассуждение! А говорят, что все хорошо делают; поэтому скоро и из своей муки нельзя будет испечь пирога. Да что уж и говорить, житье-то наше дворянское нынече стало очень худенько. Сказывают, что дворянам дана воляность: да черт ли это слыхал, прости господи, какая воляность? Дали воляность, а ничего не можно своею волею сделать; нельзя у соседа и земли отнять; в старину-то побольше было нам воляности. Бывало, отхватишь у соседа земли целое поле; так ходи же он да проси, так еще десять полей потеряет; а вина, бывало, кури сколько хочешь, про себя сколько надобно, да и продашь на сотню места. Коли воевода приятель, так кури смело в его голову: то-то была воля-то! Нынече и денег отдавать в проценты нельзя: больше шести рублей брать не велят; а бывало, так бирали на сто и по двадцати по пяти рублей. Нет-ста, кто что ни говори, а старая воля лучше новой.

Нынече только и воли, что можно выйти из службы да поехать за море; а не слышать, что там, делать! хлеб-атмы и русской едим да таково ж живем. А из службы тогда хоть и не вольно было выйти, так были на это лекари; отнесешь ему барашка в бумажке да судье другого, так и отставят за болезнями. Да уж, бывало, как приедешь в деревню-то, так это наверсташь: был бы только ум да знал бы приказные дела, так соседи и не куркай. То-то было житье! Ты, Фалалеюшка, не запомнишь этого.

Сестра твоя Варя посажена за грамоту, батько Иван сам ей начал азбуку в ее именины; ей минуло пятнадцать лет: пора, друг мой, и об том подумать; вишь, уж скоро и женихи станут свататься; а без грамоты замуж ее выдать не годится: и указа самой прочесть нельзя.

Отпиши, Фалалеюшка, что у вас в Питере делается: сказывают, что великие затеи, колокольню строят и хотят сделать выше Ивана Великого: статочное ли это дело; то делалось по благословению патриаршему, а им

как это сделать? Вера-то тогда была покрепче; во всем, друг мой, надеялись на бога, а нынече она пошатнулась, по постам едят мясо, и хотят сами всё сделать, а все это проклятая некресть делает: от немцев житья нет! Как поводимся с ними еще, так и нам с ними быть в аде. Пожалуйста, Фалалеюшка, не погуби себя, не заводи с ними знакомства: провались они проклятые! Нынече и за море ездить не запрещают, а в Кормчей книге положено за это проклятие. Нынече всё ничего; и коляски пошли с дышлами, а и за это также положено проклятие; нельзя только взятки брать да проценты выше указных, это им пуще пересола; а об этом в Кормчей книге ничего и не написано. На моей душе проклятия не будет; я и по сю пору езжу в зеленой своей коляске с оглоблями. Меня отрешили от дел за взятки; процентов больших не бери, так от чего же и разбогатеть; ведь не всякому бог дает клад; а с мужиков ты хоть кожу сдери, так не много прибыли. Я, кажется, таки и так ни плошаю, да что ты изволишь сделать? Пять дней ходят они

на мою работу, да много ли в пять дней сделают? Секу их нещадно, а все прибыли нет; год от году все больше нищают мужики: господь на нас прогневался; право, Фалалеюшка, и ума не приложу, что с ними делать. Приехал к нам сосед Брюжжалов; и привез с собою какие-то печатные листочки и, будучи у меня, читал их. Что это у вас, Фалалеюшка, делается, никак с ума сошли все дворяне! чего они смотрят? да я бы ему, проклятому, и ребра живого по оставил. Что за Живописец такой у вас проявился? Какой-нибудь немец, а православный этого не написал бы. Говорит, что помещики мучат крестьян, и называет их тиранами: а того, проклятой, и не знает, что в старину тираны бывали некрещеные и мучили святых: посмотри сам в Четьи Минеи; а наши мужики ведь не святые: как же нам быть тиранами? Нынче же это и ремесло не в моде; скорее в воеводы добьешься, нежели во... Да полно, это не наше дело. Изволит умничать, что мужики бедны: эдакая беда! неужто хочет он, чтоб мужики богатели, а мы бы, дворяне, скудели;

да этого и господь не приказал: кому-нибудь одному богатому быть надобно, либо помещику, либо крестьянину: ведь не всем старцам в игумнах быть. И во святом писании сказано: Работайте господави со страхом и радуйтесь ему с трепетом. Приимите наказание, да не когда прогневается господь: егда возгорится вскоре ярость его... Да на что они и крестьяне? его такое дело, что работать без отдыху. Дай-ко им волю, так они и не ведь что затеют. Вот те на! до чего дожили! только я на это смотреть не буду; ври себе он что хочет: а я знаю, что с мужиками делать!.. О, коли бы он здесь был! то-то бы потешил свой живот: все бы кости у него сделал как в мешке. Что и говорить, дали волю: тут небось не видят, и знатные господа молчат; кабы я был большим боярином, так управил бы его в Сибирь. Эдакие люди за себя не вступятся! Ведь и бояре с мужиками-то своими поступают не по-немецки, а все-таки так же по-русски, и их крестьяне не богачее наших. Да что уж и говорить, – и они свихнулись. Недалеко от меня де-

ревня Григорья Григорьевича Орлова; так знаешь ли, по чему он с них берет? стыдно и сказать! по полтора рубли с души; а угодьев-то сколько! и мужики какие богатые: живут себе да и гадки не мают, богаче иного дворянина. Ну, а ты рассуди сам, какая ему от этого прибыль, что мужики богаты? кабы перетаскал в свой карман, так бы это получше было: эдакой ум! То-то, Фалалюшка, не к рукам эдакое добро досталось. Кабы эта деревня была моя, так бы я по тридцати рублей с них брал, да и тут бы их в мире еще не пустил; только, что мужиков балуют! Эх! перевелисьста старые наши большие бояре: то-то были люди! не только что со своих, да и с чужих кожи драли. То-то пожили да поцарствовали, как сыр в масле катались: и царское, и дворянское, и купецкое, все было их; у всех, кроме бога, отнимали; да и у того чуть таки не отни... А нынешние господа что за люди, и себе добра не хотят. Что уж и говорить: все пошло на немецкий манер. Ну-тка, Фалалютка, вздумай, да взгадай, да поди в отставку: полно, друг мой, ведь ты

уже послужил: лбом стену не проломил; а коли не то, так хоть в отпуск приезжай. Скосырь твой жив и Налетка; мать твоя бережет их пуще своего глаза: намнясь Налетку укусила было бешеная собака; да, спасибо, скоро захватили, ворожея заговорила. Ну да полно, и было за это людям! Сидорова твоя всем кожу спустила: то-то проказница; я за то ее люблю, что уж коли придется сечь, так отделяет! Перемени двенадцать подадут; попроси с небось воды со льдом; да это нет, ничего, лучше смотрит. За сим писавый кланяюсь. Отец твой Трифон, благословение тебе посылаю.

На первый взгляд письмо это может показаться чрезвычайно резким, даже и для нынешнего читателя. Но если всмотримся в него повнимательнее, то найдем, что оно составляет не что иное, как прославление правительственных мер Екатерины. Приведши его, г. Афанасьев справедливо замечает, что «в подобных жалобах лучшая похвала екатерининскому веку» (стр. 112). В самом деле, что такое представляет собою обличаемый Три-

фон Панкратьевич? Ведь это в некотором роде неблагонамеренный либерал, беспокойный человек, осмеливающийся порицать, во имя невежества и своеволия, благодетельные меры императрицы... Какая же надобность щадить такого человека? Как же не вылить на него всей желчи благородного негодования, накипевшего в груди у сатирика? Как не осмеять, не опозорить его нелепые понятия и о значении священного сана и о крестьянах? Нападения на *таких* людей, недовольных просвещенными действиями правительства с *такой* точки, не могли служить ни к чему иному, как только к большему проявлению заботливости Екатерины о благе своих подданных. Сатира говорила обществу прямо и ясно: «смотрите, вот каковы те, которые выказывают недовольство современными правительственными реформами; неужели кто-нибудь захочет присоединиться к фаланге *таких* людей?» Само собою разумеется, что когда сатира имеет такой смысл, то чем она резче, тем выгоднее для правительства.

Между тем самая резкость слов давала сатирикам повод думать, что слова эти имеют

большое значение и на деле. И вот второе обстоятельство, которым поддерживалось в тогдашних сатириках самодовольство, сильно мешавшее им вникнуть в свое положение, понять свои отношения к обществу, среди которого они говорили, и приняться серьезно отыскивать коренные причины зла. Поставив себя на условную точку зрения, о которой мы говорили выше, они, уже не стесняясь, выговаривали все, что было у них на душе, по поводу ежедневных мелких злоупотреблений, и часто до того доходили, что пугали своих собратьев и, наконец, даже самих себя. «Труть», например, в преследовании взяточничества зашел так далеко, что «Всякая всячина», издававшаяся статс-секретарем Козицким {39} и сама иногда слегка затрогивавшая судей, сочла нужным напечатать против него такую отповедь, в виде письма Правдомыслова.

Случалось мне слышать от одной части моих сограждан изречение такое: правосудия нет. Сие родило во мне любопытство узнать, отчего бы такой вред к нам вкрался? и справедливы ли

жалобы о неправосудии? наипаче тогда, когда всякий согражданин признаться должен, что, может быть, никогда и нигде, какое бы то ни было правление не имело более попечения о своих подданных, как ныне царствующая над нами монархиня имеет о нас, в чем ей, сколько нам известно и из самых опытов доказывается, стараются подразжать и главные правительства вообще. Мы все сомневаться не можем, что ей, великой государыне, приятно правосудие, что она сама справедлива и что желает, в самом деле, видети справедливость и правосудие в действии во всей ее обширной области. О том многие изданные манифесты свидетельствуют, а наипаче Наказ комиссии уложения, где упомянуто в 520 отделении, что никакой народ не может процветать, если не есть справедлив. Где же теперь болячка, на которую жалуются, то есть что правосудия нет? Станем искать. 1) В законах ли? 2) В судьях ли? 3) В нас ли самих?

Законы у нас запутаны; о том сомнения нет. Сию неудобность мы имеем

вообще с Европою; но пред ней имеем мы выгоду ту, что ее величеством созвана вся нация для составления нового проекта узаконений; следовательно, питаемся надеждою о поправлении тогда, когда Европа вся не видит конца конфузии. А между тем, пока новые поспеют, будем жить, как отцы наши жили, с тем барышом противу них, что мы ощущаем более от высшей власти человеколюбия, нежели они. Но я скажу и то, что справедливостью распутывать можно и весьма запутанные, да и самые противуречащие законы. Итак, неправосудие не в самих законах.

Судии у нас, как и везде, всякие. У нас их определяют обыкновенно из военнослужащих или из приказных людей без великого знания. Во многих европейских землях, а наипаче во Франции, покупают за деньги судейские места друг у друга, как товар. Итак, у кого есть деньги, тот судья, хотя бы он никакого знания не имел. Почему в сем случае наши обычаи не много разнятся от обычаев других народов нашего шара. Но врождена ли справедли-

вость во всех судьях так, чтоб могла наградить недостаток знаний? то никак утвердить не можно. Следовательно, жалоба на неправосудие отчасти падает на судей и на нравы.

Говоря о нравах, Правдомыслов обвиняет общество в страсти к тяжбам и утверждает, что половина жалоб на судей несправедливы и происходят оттого, что неправая сторона, будучи обвинена, всегда остается недовольною и старается очернить правосудие. А чтобы правая сторона была осуждена, это, по мнению Правдомыслова, может быть не часто. «Чтоб подобных дел много могло проходить сквозь строгое рассматривание *трех апелляций*, – рассуждает он, – и в присутствии тяжущихся, тому верить не можно; ибо не много таких людей, которые бы захотели лихо творить в лице почти целого света и оставить на бумаге писанные свидетельства своего плутовства, за которое *подобные им получили возмездие по достоинству своему*». Говоря об апелляциях, о присутствии тяжущихся, о достойном возмездии за неправосудие, «Всячина», очевидно, разумеет новые распоряже-

ния Екатерины, направленные к восстановлению правосудия. Здесь сатира, можно сказать, дает сама себе тонкий намек, что продолжение нападок на судей может наконец принять вид неблагонамеренности и непокорства. Продолжая свои рассуждения и замечая сам, что, «однако, приведенное доказательство слабо», Правдомыслов выражает наконец без обиняков следующую мысль: «Но долг наш, как христиан и как сограждан, велит имети *поверенность и почтение к установленным для нашего блага правительствам, и не поносить их такими поступками и несправедливыми жалобами, коих, право, я еще не видал, чтоб с умысла случались*». В заключение письма Правдомыслов ругает «дурных шмелей» («Трутень»?), которые «прожужжали ему уши своими разговорами о *мнимом, неправосудии судебных мест*» («Всячина», стр. 277–280).

Письмо Правдомыслова есть какая-то мониторская{40} статья, отчасти противная даже направлению самой «Всячины», слабейшей и осторожнейшей в обличениях, чем все другие журналы, ей современные. Но тем не

менее основной ее мотив, то есть что «у нас теперь все-таки лучше, чем когда-нибудь и где-нибудь», и что «нужно иметь уверенность и почтение к установленным правительствам», – мотив этот вовсе не чужд был екатерининской сатире. Относительно почтения «Адская почта»{41} объяснялась, что *«знатных и в правлении великие места имеющих людей она никогда в лицо не трогала своими критическими замечаниями»*. При этом она, впрочем, с большим достоинством заметила, что «делала сие не для ласкательства, но для того, чтобы, переправляя такие столбы, на которых огромное опирается здание, целому строению не причинить вреда» («Адская почта», стр. 78). В этом же смысле, вероятно, и Новиков говорит самому себе в предисловии к «Живописцу»: «Никогда не разлучайся с тою прекрасною женщиною, с которою иногда тебя видал; ты легко отгадать можешь, что она называется *Осторожность*» («Живописец», I, 9). Этой осторожностью, чтобы не повредить зданию существующего порядка, постоянно руководились сатирики времен Екатерины, и, следовательно, они

действительно убеждены были, что здание само по себе совершенно хорошо, но что его нужно только очистить несколько от накопленного в нем сора. А для того, чтобы вымести этот сор, они чувствовали в себе достаточно сил и не щадили себя для того, чтобы сделать чище и удобнее жилище российской Минервы. «По указанию Екатерины Великой, – говорит г. Афанасьев, – периодические издания выступили с своим обличительным словом, и в этом общем увлечении сатирическим направлением нельзя не признать высокой нравственной стороны современной эпохи. *Старинные суеверия, предрассудки и ложь отживали свой век, в их диком вопле против сатиры и правительственных мер слышится уже близкое торжество всеобновляющей правды*» (стр. 111). Точно так думали о себе и своем значении и сами сатирики 1770-х годов. «Парнасский щепетильник»{42} совершенно соглашается с мнением г. Афанасьева, говоря: «Я с восхищением вижу в некоторых головах целительное действие; ибо многие, присматриваясь пристально к описанным весьма худыми красками лицам и на-

ходя в них не знаю какое-то с собою подобие, совершенно бросили юродствовать и принялись за разум» («Парнасский щепетильник», стр. 29). Правда, следует заметить, что слова «Щепетильника» относятся не ко всем вообще обличаемым, а только к дурным стихотворцам, следовательно, воззрение г. Афанасьева гораздо шире; но в пользу «Щепетильника» можно привести то обстоятельство, что он на девяносто лет опередил нашего ученого. Впрочем, некоторыми изданиями воззрение г. Афанасьева на жизненное значение сатиры было уже принято и в то время. Так, «Полезное с приятным»{43} пишет в своем объявлении: «Видя, с какою жадностью приемлет общество издаваемые еженедельные сочинения для увеселения оною, не можно не восчувствовать истинной радости. С каким бы намерением кто ни желал иметь оные, однако то неоспоримо, что там найдет и такое, которое *напоследок и порочное сердце устыдить и к некоторому исправлению побудить может*; а сие самое и есть предметом трудящихся в таковых изданиях» (Афанасьев, стр. 19). А «Всячина» выражается еще решитель-

нее. «Мы не сомневаемся, – говорит она, – о скором исправлении нравов и ожидаем немедленно искоренения всех пороков, ибо уже начали твердить наизусть «Всякую всячину» («Всякая всячина», стр. 123). К сожалению, в этой заметке слышна ирония; а то мы сказали бы, что «Всячина» уже чувствовала «торжество всеобновляющей правды», о котором так лестно отзывается г. Афанасьев...

Признаемся, мы не удивляемся самоуверенности сатириков и еще менее дивимся отзывам о них г. Афанасьева. Действительно, если бы дело было только в том, чтобы уничтожить злоупотребления, опозорить людей, препятствующих правильному ходу общественной машины в том виде, как она есть, то от сатиры ничего и требовать нельзя было бы более того, что она давала при Новикове. И ежели она, в самом деле, не имела практического успеха, то не от слабости нападений на те или другие пороки: нет, на что она нападала, тому доставалось от нее очень сильно. Но слабая ее сторона заключалась в том, что она не хотела видеть коренной дрянности того механизма, который старалась исправить.

Этой стороны не замечает г. Афанасьев, и потому суждения его о великой важности сатиры 1770-х годов отзываются весьма естественным преувеличением. Но стоит несколько поднять уровень нравственных требований, и мы увидим, что и новиковская сатира была еще очень слаба и занималась менее важными предметами, оставляя в стороне главные и существенные. Чтобы не пускаться в далекие рассуждения, возьмем пример. В журналах Новикова было много обличений против жестоких помещиков. Это было очень хорошо и сообразно с намерениями государыни, находившей, что злоупотребления помещичьей власти составляют страшное зло и служат поводом ко многим беспокойствам в государстве. Но весьма немногие из тогдашних сатир брали зло в самой его сущности; немногие руководились в своих обличениях радикальным отвращением к крепостному праву, в какой бы кроткой форме оно ни проявлялось. А еще это один из наиболее простых и ясных вопросов, и новиковская сатира его поставила много лучше других. В отношении к другим условиям, составляющим основу обще-

ственного быта, сатирики еще легче скользили по поверхности... Принявши аксиому, что

..... *Законы святы.
Да исполнители – лихие супоста-
ты*{44} —

они все темные явления русской жизни считали противозаконным исключением и очень часто ссылались, для подкрепления своих обличений, на вновь изданные указы. Таким образом, они сами ставили свою деятельность в зависимость от существовавшей тогда администрации, и, следовательно, все основные недостатки в организации русского общества, незамеченные, а иногда даже и освященные законом, избегали и пера сатириков... Этим-то и объясняется то, на первый взгляд очень странное, явление, что сатира тогдашнего времени, при своей резкости, благородстве и постоянном соответствии с правительственными мерами, ничего, однако же, не исправила и не переделала. Человека, который свалился с ног от тяжелой болезни, она хотела заставить ходить, расправляя его ноги разными специями... Разумеется, стара-

ния ее должны были остаться безуспешными.

Чтобы видеть, до какой степени бесполезны в практическом отношении все нападки на частные проявления зла, без уничтожения самого корня его, мы можем представить теперь несколько примеров того, как поставлен был сатирою екатерининского времени вопрос об отношениях крестьян и помещиков. В настоящее время, когда крестьянский вопрос рассматривается уже правительством во всей его обширности, можно, кажется, совершенно спокойно и безбоязненно повторить то, что говорилось, почти за столетие назад, лучшими людьми времен Екатерины. Притом же характер этих обличений таков, что они имеют теперь уже только историческое значение, и если кто решится увидеть в них какое-нибудь отношение к современности, тот докажет только, что он целым столетием опоздал родиться...

В приведенном выше письме Трифона Панкратьича мы уже видели, что жестоким помещиком является человек старого времени, с отсталыми понятиями, жалующийся на то, что невежество и грубость уже отжили

свой век в царствование Екатерины. Такой же точно господин является в «Трутне» (1769 года, стр. 202–208, 233–240), в «отписках» крестьян своему барину и в копии с его господского «указа». Эти документы так хорошо написаны, что иногда думается: не подлинны ли это? Вот выписка из крестьянской отписки:

*Государю Григорью Сидоровичу.
Бьют челом *** отчины твоей староста Андрюшка со всем миром.
Указ твой господской мы получили, и денег оброчных с крестьян на нынешнюю треть собрали: с сельских ста душ – 123 рубли 20 алтын; с деревенских 50 душ – 61 рубль 17 алтын; а в недоимке за нынешнюю треть осталось на сельских 26 рублей 4 гривны, на деревенских 13 рублей 49 копеек; да послано к тебе, государь, прошлой трети недоборных денег с сельских и деревенских 43 рубли 20 копеек; а больше собрать не могли: крестьяне скудны, взять негде, нынешним годом хлеб не родился, насилу могли семена в гумна собрать. Да бог посетил нас скотским падежом, скотина почти вся повали-*

лась; а которая и осталась, так и ту кормить нечем, сена были худые, да и соломы мало, и крестьяне твои, государь, многие пошли по миру. Неплательщиков по указу твоему господскому на сходке сек нещадно, только они оброку не заплатили, говорят, что негде взять. С Филаткою, государь, как поволишь? денег не платит, говорит, что взять негде; он сам все лето прохворал, а сын большой помер, остались маленькие робятишки; и он нынешним летом хлеба не сеял, некому было землю пахать, во всем дворе одна была сноха, а старуха его и с печи не сходит. Подушные деньги за него заплатит мир, видя его скудость; а за твою, государь, недоимку по указу твоему продано его две клетки за три рубли за десять алтын; корова за полтора рубли, а лошади у него все пали, другая коровенка оставлена для робятишек, кормить их нечем: миром сказали, буде ты его в том не простишь, то они за ту корову деньги отдадут, а робятишек поморить и его вконец разорить не хотят. При сем послана к милости твоей Филаткина челобитная, как с

ним сам поволитишь, то и делай; а он уже не плательщик, покуда не подрастут робятишки; без скотины да и без детей наш брат твоему здоровью не слуга. Миром, государь! тебе бьют челом о завладенной у нас Нахрапцовым земле, прикажи ходить за делом: он нас здесь разоряет и землю отрезал по самые наши гумна, некуда и курицы выпустить; а на дело по указу твоему собрало тридцать рублей и к тебе посланы без доимки; за неплательщиков положили тяглые, только прикажи, государь, добиться по делу. Нахрапцов на нас в городе подал явочную челобитную, будто мы у него гусями хлеб потравили, и по тому его челобитью была за мною из города посылка. Меня в отчине тогда не было, посыльные забрали в город шесть человек крестьян, в самую работную пору, и я, государь, в город ездил, просил секретаря и воеводу, и крестьян ваших выпустили, только по тому делу стало миру денег шесть рублей, воз хлеба да пять возов сена. Нахрапцов попался нам на дороге и грозился нас опять засадить в тюрьму. Секретарь ему родня, и он нас

очень обижает. Отпиши, государь, к прокурору: он боярин доброй, ничего не берет, когда к нему на поклон придешь, и он твою милость знает, авось либо он за нас вступится и секретаря уймет; а воевода никаких дел не делает, ездит с собаками, а дела все знает секретарь. Вступишь, государь, за нас, своих сирот; коли ты за нас не вступишься, так нас совсем разорят, и Нахрапцов всех нас пустит в мир. Да еще твоему здоровью всем: миром бьют челом о сбавке оброчных денег, нам уже стало невозможу; после переписи у нас в селе и в деревне померло больше тридцати душ, а мы оброк платим всё тот же; покуда смогли, так мы так-ки твоей милости тянулись, а ныне стало уже невмочь. Буде не помилуешь, государь, то мы все вконец разоримся: неплательщики век прибавляются, и я по указу твоему сбор делал всякое воскресение, и неплательщиков секу в сходе, только им взять негде, как ты с ними не поволишь. Еще твоей милости доношу, ягоды и грибы нынешним летом не родились, бабы просят, чтобы изволил ты взять

деньгами, по чему укажешь за фунт; да еще просят, чтобы за пряжу и за холстину изволил ты взять деньгами. Лесу твоего господского продано крестьянам на дрова на семь рублей с полтиною; да на две избы, по десяти рублей за избы. И деньги, государь, все с Антошкою посланы. При сем еще послано штрафных денег с Ипатки за то, что он в челобитье своем тебя, государь, оболгал и на племянника сказал, будто он его не слушался, и затем с ним разошелся, взято по указу твоему тридцать рублей. С Антошки за то, что он тебя в челобитной назвал отцом, а не господином, взято пять рублей, и он на сходке высечен. Он сказал: я-де это сказал с глупости, и напередки он тебя, государя, отцом называть не будет. Дьячку при всем мире приказ твой объявлен, чтобы он впредь так не писал. Остаемся рабы твои староста Андрюшка со всем миром земно кланяемся.

За эту отпискою помещено слезное прошение Филатки, о котором говорится в отписке старосты, а затем напечатана «копия с по-

мещицкого указа», в котором чрезвычайно ярко выражаются бесчеловечность и невежество помещика. Никакие человеческие чувства его не трогают, никакие страдания не возбуждают в нем жалости, никакие резоны не внушают ему здравого распоряжения. Он привык действовать совершенно произвольно и тот же произвол передает человеку своему, Семену Григорьеву, которого посылает в деревню для распоряжений. Вот выдержки из его указа, напечатанного в «Трутне»:

КОПИЯ С ПОМЕЩИЦЬЕГО УКАЗА

*Человеку нашему Семену Григорьеву!
Ехать тебе в *** наши деревни, и по
приезде исправить следующее:*

- 1) Проезд отсюда до деревень наших и оттуда обратно иметь на счет старосты Андрея Лазарева.*
- 2) Приехав туда, старосту при собрании всех крестьян высечь нещадно за то, что он за крестьянами имел худое смотрение и запуская оброк в недоимку, и после из старост его сменить; да сверх того взискать с него штрафа сто рублей.*
- 3) Сыскать в самую истинную правду,*

как староста и за какие взятки оболгал нас ложным своим докладом? За то прежде всего его высечь, а потом начинать следствием порученное тебе дело.

4) Старосты Андрюшки и крестьянина Панфила Данилова, по коем староста учинил ложный донос, обоих их дома опечатать и определить караул; а их самих отдать под караул в другой дом.

5) Если ж в чем-либо будут они чинить запирательство, то объяви им, что они будут отданы в город для наказания по указам.

6) И как нет сомнения, что староста донос учинил ложной, то за оное перевести его к нам на житье в село ***; буде же он за дальним расстоянием перевозиться и разорять себя не похочет, то взыскать с него за оное еще пятьдесят рублей.

7) Сколько пожитков всякого звания осталось после крестьянина Анисима Иванова и получено крестьянином Панфилом Даниловым, то все с него, Данилова, взыскать и взять в господский двор, учиня всему тому опись.

8) Крестьян в разделе земли по просьбе

их поравнять по твоему благорассуждению; но притом, однако ж, объявить им, что сбавки с них оброку не будет и чтобы они, по делаю никаких отговорок, оный платили бездоимочно... неплательщиков же при собрании всех крестьян сечь нещадно.

9) Объявить всем крестьянам, что к будущему размежеванию земель потребно взять выпись; и для того на оное собрать тебе со крестьян, сколько потребно будет, на взятые выписи.

10) В начавшийся рекрутский набор с наших деревень рекрута не ставить; ибо здесь за них поставлен в рекруты Гришка Федоров, за чиненные им неоднократно пьянствы и воровства вместо наказания, а со крестьян за поставку того рекрута собрать по два рубли с души.

11) За ложное показание Панфила Данилова и утайку свойства других взять с него, вменяя в штраф, сто рублей; а его перевести к нам в село *** на житье; а когда он просить будет, чтобы полученные им неправильно пожитки оставить у него и его оставить на прежнем жилище, то за оное взыскать

с него, опричь штрафных, двести рублев.

12) По просьбе крестьян у Филатки корову оставить, а взыскать за нее деньги с них; а чтобы они и впредь таким ленивцам потачки не делали, то купить Филатке лошадь на мирские деньги; а Филатке объявить, чтобы он впредь пустыми своими челобитными не утруждал и платил бы оброк без всяких отговорок бездоимочно.

13) Старосту выбрать миром и подтвердить ему, чтобы он о сборе оброчных денег имел неусыпное попечение и неплательщиков бы сек нещадно, буде же какие впредь явятся недоимки, то оное взыскано будет все со старосты.

14) За грибы, ягоды и пр. взять с крестьян деньгами.

15) Выбрать шесть человек из молодых крестьян и привезть с собою для обучения разным мастерствам.

16) По исправлении всего вышеписанного ехать тебе обратно; а старосте накрепко приказать неусыпное иметь попечение о сборе оброчных денег.

«Трутень» ничего не прибавляет от себя к этому указу; но смысл его ясен сам по себе: в

нем обличается бесчеловечное обхождение помещика с крестьянами, или, говоря иначе, «злоупотребление помещичьей власти». Вслед за «указом» Григорья Сидорыча в «Трутне» помещен рецепт Злораду (стр. 211), думающему, «что слуг, ему подчиненных, к исполнению своих должностей ничем иным принудить невозможно, как строгостию или паче зверством и жестокими побоями. Дли сей причины подчиненных ему слуг и за сама-лейшие слабости и оплошности наказывает зверски... Одевает, обувает и кормит он своих слуг весьма худо, утверждая, что когда сии безумия его несчастные невольники чувствуют голод и холод, тогда ежеминутно памяту-ют они свое рабство и, по его мнению, следо-вательно, тем побуждаются к исполнению своих должностей. Любовь к человечеству он опровергает, но утверждает, что рабам жесто-кость и наказание так, как дневная пища, необходимо нужны. Надлежит думать, что он имеет сердце, напоенное лютым зверством и жестокостью, когда не слышит вопиющего гласа природы: и рабы человеки!» Этому Зло-раду прописывается рецепт: «чувствований

истинного человечества три лота; любви к ближнему два золотника и соблезнования к несчастиям рабов – три золотника». В «Трутне» же помещен был и другой рецепт – для г. Безрассуда (стр. 188–190), отличающийся тенденцией), довольно радикальною для того времени. Приведем его вполне:

Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть человеки, но крестьяне; а что такое крестьяне, о том знает он только потому, что они крепостные его рабы. Он с ними точно так и поступает, собирая с них тяжкую дань, называемую оброк. Никогда с ними не только что не говорит ни слова, но и не удостоивает их наклонения своей головы, когда они, по восточному обыкновению, пред ним по земле расprostираются. Он тогда думает: Я господин, они мои рабы, они для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платежом оброка; они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора. В дополнение к сему прибавляет он, что точно о крестьянах ска-

зано – в поте лица твоего снеси хлеб твой. Бедные крестьяне любить его как отца не смеют, но, почитая в нем своего тирана, его трепещут. Они работают день и ночь, но со всем тем едва-едва имеют дневное пропитание, затем что насилу могут платить господские поборы. Они и думать не смеют, что у них есть что-нибудь собственное, но говорят: это не мое, но божие и господское. Всевышний благословляет их труды и награждает, а Безрассуд их обирает. Безрассудный! разве забыл то, что ты сотворен человеком, неужели ты гнушаешься самим собою, во образе крестьян, рабов твоих? разве не знаешь ты, что между твоими рабами и человеками больше сходства, нежели между тобою и человеком? Вообрази рабов твоих состояние, оно и без отягощения тягостно: когда же ты гнушаешься теми, которые для удовольствования страстей твоих трудятся почти без отдохновения... то подумай, как должны гнушаться тобою истинные человеки, человеки господа, господа отцы своих детей, а не тираны своих,

как ты, рабов. Они гнушаются тобою, яко извергом человечества, преобразующим нужное подчинение в иго рабства. Но Безрассуд всегда твердит: я господин, они мои рабы; я человек, они крестьяне.

От сей вредной болезни рецепт: Безрассуд должен всякой день по два раза рассматривать кости господские и крестьянские до тех пор, покуда найдет он различие между господином и крестьянином.

Рецепт заставляет думать, что у автора была идея о несправедливости человеческой власти вообще. «Крестьяне суть тоже человеки и даже более похожи на людей, чем иные помещики; а человеку человеком владеть как вещью – не должно». Таковы, кажется, его основные мысли. Но, всматриваясь пристальнее, находим, что и здесь была на уме у автора только отвлеченная мораль, потому что он тут же восхваляет «человеков господ, господ отцов своих детей, а не тиранов своих рабов». Следовательно, и в этой статейке та же последовательность, которую страдает вообще сатира прошлого столетия. Вместо прямого вы-

вода: «крестьяне тоже человеки, следовательно, помещики не имеют над ними никаких прав», подставлен другой, очень неполный: «крестьяне тоже человеки, следовательно, не нужно над ними тиранствовать».

Гораздо далее всех обличителей того времени ушел г. И. Т., которого «Отрывок из путешествия» напечатан в «Живописце» (стр. 179–193). В его описаниях слышится уже ясная мысль о том, что вообще крепостное право служит источником зол в народе. Вот начало этого отрывка:

Я останавливался во всяком почти селе и деревне, ибо все они равно любопытство мое к себе привлекали; но в три дни сего путешествия ничего не нашел я похвалы достойного. Бедность и рабство повсюду встречались со мною в образе крестьян. Непаханные поля, худой урожай хлеба возвещали мне, какое помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие, покрытые соломою хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшие одоньи хлеба, весьма малое число лошадей и ро-

гаторого скота – подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны... Не пропускал я ни одного селения, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской. И, слушая их ответы, к великому огорчению всегда находил, что помещики их сами тому были виною. О человечество! тебя не знают в их поселениях. О господство! ты тиранствуешь над подобными тебе человеками. О блаженная добродетель любовь, – ты употребляешься во зло: глупые помещики сих бедных рабов проявляют тебя более к лошадям и собакам, а не к человекам! («Живописец», стр. 179–180){45}.

Далее следует описание возмутительной бедности и грязи, в которой живут крестьяне деревни Разоренной. Между прочим, смотря на плачущих младенцев, брошенных без призора, г. И. Т. восклицает: «Кричите, бедные твари, произносите жалобы свои! Наслаждайтесь последним сим удовольствием во младенчестве: когда возмужаете, тогда и сего утешения лишитесь!» (стр. 185). Затем автор пус-

кается в размышления о том, как нелепо судьба распоряжается людьми: праздношатающиеся «любимцы Плутовы» веселятся, обремененные всевозможными гадостями, а труженники крестьяне страдают за тяжелой работой, да и то не для себя. Вот некоторые из его сближений:

Между тем солнце, совершив свое течение, погружалось в бездну воды, и сама природа призывала всех от трудов к покою. Между тем богачи, любимцы Плутовы, препроводя весь день в веселии и пированиях, к новым приготовлялись увеселениям... Худой судья и негодный подьячий веселились, что в минувший день сделали прибыль своему карману и пролили новые источники невинных слез... Игроки собирались ко вседневному бдению за карточными столами и там, теряя честь, совесть и любовь к ближнему, готовились обманывать и разорять богатых простячков всякими непозволенными способами. Другие игроки везли с собою в кармане труды и пот своих крестьян целого года и готовились поставить на карту. Купец веселился,

считая прибыль того дня, полученный им на совесть, и радовался, что на дешевый товар много получил барыша. Врач благодарил бога, что в этот день много было больных, и радовался, что отправленный им на тот свет покойник был весьма молчаливый человек. Стряпчий доволен был, что в минувший день умел разорить зажиточного человека и придумать новые плутовства для разорения других по законам. А крестьяне, мои хозяева, возвращались с поля, в пыли, в поте, измучены, и радовались, что для прихотей одного человека все они в прошедший день много сработали! (стр. 188–190){46}.

Тирада эта очень резка, и, кажется, тогдашнее благочиние вообще строго посмотрело на эту статью. Некоторых мест из нее даже нельзя было напечатать. В одном месте издатель делает примечание: «Я не включил в сей листок разговоров путешественника с крестьянином по некоторым причинам: благоразумный читатель и сам их отгадать может». Видно, и в то время существовали «некоторые причины», мешавшие писателю говорить от-

кровенно всю правду, как скоро он удалялся от тех покровов, под которыми ратовала тогдашняя сатира вообще. Следы боязни полной гласности попадаются и в других местах сатирических журналов. В защиту «Отрывка» Новиков поместил в «Живописце» особую статью{47}, в одном месте которой находим такое примечание: «Тут следовали многие другие упрекания, относящиеся к худым помещикам, но я их исключил, опасаясь навлечь на себя сугубое негодование» (стр. 71). В «Трутне», в числе сатирических ведомостей, есть такое объявление: «Издателю «Трутня», для наполнения еженедельных листов, потребно простонародных басен и сказок: *ибо из присылаемых к нему сатирических пьес многих не печатают*; а напечатанные без всякого стыда многие принимают на свой счет и его злословят за то повсеместно» (стр. 142){48}. Из этого можно видеть, что противодействие невежественных и сильных обскурантов много вредило в то время свободе слова и писатели только и могли защищаться дозволением и милостию монархини. Но Екатерине, несмотря на обнаруженную ею любовь к литературе,

иное могло быть представлено в превратном виде; иным авторам могли быть в ее глазах приписаны неблагонамеренные тенденции, и тогда уже нельзя было рассчитывать на ее защиту. Известны два анекдота о Державине: один – о «Фелице», другой – о переложении псалма 81-го. «Фелица», этот «хитросложенный пук хвалы», как выразилась однажды сама Екатерина, сделалась известною императрице случайно{49}, и Державин пришел в ужасное беспокойство, потому что в этой «оде» были намеки на Потемкина, Алексея Орлова, Нарышкина и других важных лиц. Но само собою разумеется, что Екатерина не могла разгневаться на пьесу, которая начиналась обращением к ней: «Богородица царица!» и оканчивалась стихами:

*Прошу великого пророка,
Да праха ног твоих коснусь, и пр.*

Притом же, стихотворение это представлено ей было княгинею Дашковой... И вот Державину, несмотря на его «смелые» намеки на важных лиц, прислали золотую табакерку с 500 червонных и удостоили больших мило-

стей. Но через двенадцать лет вздумал он поднести императрице тетрадь своих сочинений. В числе их находилось переложение 81-го псалма. [2] После этого несколько раз бывши при дворе, Державин «лримечал в императрице к себе холодность, а окружающие его бегали, как бы боясь с ним даже встретиться, по токмо говорить». Державин не мог понять, что это значит, по вскоре узнал, что переложение 81-го псалма принято за «якобинские стихи» и что уже велено секретно допросить поэта через Шешковского, «для чего он и с каким намерением пишет такие стихи». В это время Державину было уже с лишком пятьдесят лет, он был тайным советником и сенатором; следовательно, трудно было подозревать его в санкюлотстве. И действительно, узнав, в чем дело, он чистосердечно объяснил, что заподозренные стихи суть не что иное, как псалом даря Давида, который, конечно, не был якобинцем, что псалом этот переложен им в простоте души и, наконец, что переложение сделано еще в 1787 году, тогда же напечатано было в «Зеркале света»{50} и до сих пор не только не произвело вредных для государства

последствий, но даже не было замечено самими блюстителями благочиния. После этого объяснения и ходатайства Зубова, к которому обратился Державин, невинность поэта была признана и императрица возвратила ему свое благоволение (Записки Державина. См.: «Русская беседа», 1859, т. IV, стр. 380–382).

Случаи с Державиным очень характерны. Они показывают, как бессознательно многое говорилось и как легко принималось, пока какая-нибудь случайность не привлекала на статью или книгу чьего-нибудь неблагонамеренного внимания. «Отрывок из путешествия», о котором мы сейчас только что говорили, может служить новым доказательством этого. Он, как видно, очень понравился публике: в «Живописце» он перепечатывался несколько раз, и даже в последние годы царствования Екатерины (пятое издание – 1793 год), когда она уже не позволяла писать так резко, когда Радищев за подобную книгу поплатился ссылкой в Сибирь, когда даже Державина подозревали в якобинстве. Мало того: отрывок этот был перепечатан в 1806 году в «Московском собеседнике» (ч. II, стр. 163). И,

однако ж, дело было так щекотливо, что Новиков, напечатав сначала обещание *продолжать* эти отрывки, не мог сдержать слова, да и первый-то отрывок мог поместить не иначе, как с таким послесловием: «Сие сатирическое сочинение, под названием путешествия в **, получил я от г. И. Т. с прошением, чтобы оно помещено было в моих листах. Если бы это было в то время, когда умы наши и сердца заражены были французским народом, то не осмелился бы я читателя моего попотчевать с этого блюда, потому что оно приготовлено очень солоно и для нежного вкуса благородных невежд горьковато. Но ныне премудрость, сидящая на престоле, истину покровительствует во всех деяниях. Итак, я надеюсь, что сие сочиненьице заслужит внимание людей, истину любящих» («Живописец», ч. II, стр. 194). Но и эта приписка плохо помогла: стали обвинять автора и издателя в неблагонамеренности, заметив, может быть, что в «Отрывке» бросается сильное сомнение на законность самого принципа крепостных отношений. Вследствие таких толков издатель счел необходимым поместить, под названием

«Английской прогулки», защиту «Отрывка», уверяющую, что автор вовсе не имел в виду оскорбить «целый дворянский корпус», что он более ни о чем не говорит, как только о злоупотреблениях, которых, конечно, сами дворяне не одобряют, и пр. В «Прогулке» выводится приятель издателя, который говорит ему:

Я совсем не понимаю, продолжал он, почему некоторые думают, что будто сей листок огорчает целый дворянский корпус. Тут описан помещик, не имеющий ни здравого рассуждения, ни любви к человечеству, ни сожаления к подобным себе; и, следовательно, описан дворянин, власть свою и преимущество дворянское во зло употребляющий... Кто не согласится, что есть дворяне, подобные описанному вами? Кто посмеет утверждать, что сие злоупотребление не достойно осмеяния? И кто скажет, что худое рачение помещиков о крестьянах не наносит вреда всему государству? Пусть вникнут в сие здоровым рассуждением: тогда увидят, отчего останавливаются и приходят в недоимку государственные

поборы; отчего происходит то, что крестьяне наши бывают бедны; отчего у худых помещиков и у крестьян их частые бывают неурожаи хлеба... Не все ли проистекает от употребления во зло преимущества дворянского? Когда ж неустроению сему причиною худые дворяне, то не достойны ли они справедливого порицания? Пусть скажут господа критики, кто больше оскорбляет почтенный дворянский корпус; я еще важнее скажу, кто делает стыд человечеству: дворяне ли, преимущество свое во зло употребляющие, или ваша на них сатира? Итак, верьте, примолвил он, что такие ваши сатиры не только что не огорчают дворян, украшенных добродетелию и знающих человечество, но паче еще и превозносят их. Правда, что в числе ваших критиков были и такие, которые порицали вас, будучи побуждаемы слепым пристрастием ко преимуществу дворянскому; но коль чудно и странно сие пристрастие! Как? защищать упорно такое преимущество, которым сами они и все честные и добросердечные дворяне никогда не пользу-

ются!.. Я знаю еще недовольных вашим листком; но неудовольствие сих людей достойно того, чтобы вы имели к ним почтение: ибо они, не ведая вашей цели, никакого не могли поначалу сделать правильного заключения; и потому из любви ко ближнему более сожалели, нежели охуждали, что вы не с той стороны принялись за сию сатиру (??). Напротив того, бранили мне надменные дворянством люди, которые думают, что дворяне ничего не делают неблагородного; что подлости одной свойственно утопать в пороках; и что, наконец, хотя некоторые дворяне и имеют слабость забывать честь и человечество, однако ж будто они, яко благородные люди, от порицания всегда должны быть свободны! Сии гордые люди утверждают, что будто точно сказано о крестьянах: накажу их жезлом беззакония; и подлинно, они часто наказываются беззаконием!

Нельзя не сознаться, что объяснение это очень искусно написано. Но тем не менее оно парализовало истинную силу «Отрывка» и

придало ему тот же недалекий вид, каким отличалась вообще сатира того времени... Обличители хотели внушить помещикам правила человеколюбия, без ограничения их произвола и без изменения их юридических отношений к крестьянам. Они никак не хотели понять, что пока личному произволу оставлена хоть малейшая доля участия в распоряжении общественными делами и отношениями, до тех пор не может быть прочных гарантий для сохранения безопасности и прав личности. От этого-то непониманья и происходила та двойственность и половинчатость сатиры, которая лишила ее практического влияния на перемену нравов.

Для некоторых может показаться странным, что мы говорим о слабости сатиры, которая, как видно из наших же выписок, была так резка и беспощадна. Наше суждение может показаться особенно несправедливым в отношении к крестьянскому вопросу, который так безбоязненно и серьезно поставлен на вид тогдашнею сатирою. В других вопросах самостоятельное значение сатиры уменьшается тем, что она шла обыкновенно вслед

за административными распоряжениями и карала зло, уже официально пораженное. Но здесь совсем другое. Дело эманципации только еще теперь осуществляется. Но и «в настоящее время, когда» вопрос этот уже близится к своему разрешению, недостатки прошлого положения дел не представлены в столь резких и живых картинах, как в сатире Новикова, в то время, когда эти недостатки были еще во всей силе и распространены были повсюду в России. Известно, что при Екатерине у нас не только не хотели отказываться от принципа крепостного права, но еще распространяли его значение. В 1762 году, в первые дни вступления на престол, Екатерина раздала много крестьян разным лицам, содействовавшим ее воцарению, и издала указ, чтобы помещичьи крестьяне, под страхом строгого наказания, не слушали злонамеренных разглашений о том, будто их велено от помещиков отписывать на казну. Затем подобные указы повторялись каждый год по несколько раз. Раздача крестьян была при Екатерине самою обыкновенною наградою дворянам. К сожалению, нет положительных сведений о коли-

честве розданных тогда крестьян; но стоит только заглянуть в какие-нибудь современные мемуары, чтобы тотчас же напасть на исчисление сотен и тысяч пожалованных крестьян. Раскройте, например, Грибовского, и у него вы найдете мимоходом сделанные замечания, что Остерману было пожаловано 6000 душ (Грибовский, «Записки», стр. 65){51}, Троицкому – 1700, В. С. Попову – 1500 в Малороссии да 1000 в польских губерниях (стр. 81), иностранцу Алтести – 6000 душ польских (стр. 78), графу Маркову – 4000 душ (стр. 75), графу Безбородко – 16000 (стр. 70), Н. И. Салтыкову – 6000 (стр. 61)... Державин в своих «Записках» жалуется, что ему в день торжества мира с турками, в 1793 году, ничего не пожаловали, между тем как он «в сей день провозглашал с трона публично награждения отличившимся в сию войну чиновникам несколькими тысячами душ» («Русская беседа», IV, стр. 349). В 1783 году закреплены крестьяне в Малороссии. Все это должно бы заставить сатириков молчать о вопросе помещичьем; но они говорили резко, смело, свободно. Можно ли не отдать им дани справедливого удивления и бла-

годарности?

Да, конечно, усилия сатириков все-таки заслуживают нашей благодарности, как и Державин заслуживает благодарности за переложение псалма 81-го. Но не следует преувеличивать их значения. Заслуги их можно бы восхвалять сколько угодно: от этого ничего дурного не вышло бы. Но нехорошо, однако, когда делу придают такое значение, какого оно не имело: это имеет ту дурную сторону, что очень стесняет наши требования и заставляет довольствоваться исполнением, которое вовсе неудовлетворительно. Поэтому мы считаем необходимым заметить следующее. Во-первых, сатира новиковская нападала, как мы видели, не на принцип, не на основу зла, а только на *злоупотребления* того, что в наших понятиях есть уже само по себе зло. Во-вторых, даже и резкость нападок на самые злоупотребления была большею частью следствием недоразумения и наивности, вроде державинского переложения псалма. Конечно, Екатерина указами запрещала верить слухам об освобождении; но уже это самое доказывает, что были об этом слухи, и довольно

распространенные. И, говорят, действительно мысль об освобождении была и у Екатерины в первое время ее царствования. Есть известие, что был даже предложен вопрос об этом которой-то академии и академики сочинили даже рассуждение^{52}, которого содержание понятно из эпитафы: «In favorem libertatis omnia jura clamant; seel est modus in rebus». [3] Хорошему всегда веришь охотнее, а писатели екатерининского времени так увлечены были мечтою о златом веке, так доверяли мудрости российской Минервы, так привыкли ждать всего прекрасного от царствующей над ними Астреи, что готовы были не только поверить первому слуху об освобождении ею крестьян, но даже и сочинить на этот слух восторженную оду. Некоторые намеки, ложно растолкованные в первых манифестах Екатерины, подали им надежду, а отобрание к казну имений монастырских и церковных убедило их в легкости исполнения ожидаемого. И затем в течение многих лет ничто уже не могло разубедить их. Не только Новиков, в 1769 и 1772 годах, но даже писатели после 1783 года, то есть после закрепления малороссийских

крестьян, поддавались первой вести о свободе и приходили в неописанный восторг. До какой степени легко возбуждался этот восторг и какие удивительные размеры а формы придавал он и самым обыкновенным и невозможным вещам, можно видеть из следующего примера. Указом 15 февраля 1786 года Екатерина повелела не подписываться на прошениях к ней *рабом*, но *верноподданным*. Понятно, что это было дело простой формальности и не давало русскому народу никаких особенных прав. Но что же делает литература? Один из замечательных ее деятелей, и притом сатирик, приходит в восторг неслыханный и пишет «Оду на истребление в России звания раба», в которой придает изменению формальности в подписи вот какое значение (Соч. Капниста, стр. 294):{53}

*Теперь, – о радость несказанна!
О день – светлая всех побед!
Царица, небом ниспосланна,
Неволи тяжки узы рвет.
Россия! ты свободна ныне!
Ликуй! вовек в Екатерине
Ты благость бога зреть должна.*

*Она тебе вновь жизнь дарует
И счастье с вольностью связует
На все грядущи времена...
Обилие рекой польется
И ризу позлатит полей;
Глас громких песней разнесется,
Где раздавался звук цепей.
Девуц и юнош хороводы
Выводят уж вослед свободы
Забавы в роцц за собой;
И старость, игом лет согбенна,
Пред гробом зрится восхищенна,
С свободой встреча век златой!*

И все это оттого, что изменена форма подписи на прошениях! Вот и судите по этому, до какой степени простиралась наивность наших сатириков прошлого столетия! Ведь этот же самый Капнист, в другом настроении духа, готов был бы написать и сатиру на тех, которые вздумали бы уверять, что указ 15 февраля 1786 года вовсе не дает освобождения.

И ведь любопытно то, что никакой опыт не научает русского поэта. Все иллюзии Капниста, разумеется, разлетелись прахом. По случаю открывшихся в 1787 году войн с Турцией) и Польшею раздача вотчин усилилась;

еще большие размеры приняла она при Павле I, который в первые же дни по вступлении на престол роздал, как замечено в объяснениях к сочинениям Державина (т. I, стр. 527), до 300 000 душ крестьян. Можно бы ожидать, что последующие события будут уже приниматься осмотрительнее, что дух надежды несколько упадет. Но вот настал 1801 год, вступил на престол император Александр I, и оживились замолкшие было надежды. В 1803 году, 20 февраля, издан указ о свободных хлебопашцах. Как известно, указ этот имел самое ограниченное применение;^{54} но в воображении некоторых пиит размеры его вышли громаднейшие. «Свободу и блаженство всей Российской империи» – вот что увидели в этом частном распоряжении – ни более, ни менее. По этому случаю М. В. Храповицкий^{55}, не только стихотворец, но даже отчасти государственный человек, сочинил тоже оду, где сначала описывается, как ужасно было положение раба, который

*Едва вздохнуть на небо знает,
Питать надежды не дерзает,
Чтоб мог престать он быть ра-*

бом;

а затем поэт восклицает в лирическом порыве: «Престал!» и изображает благодетельные следствия, уже происшедшие от этого:

*Теперь лишь жить он начинает!
Исчез бича всегдашний страх!
Как немощию удрученный,
Весны дыханьем облегченный,
Усмешку кажет на устах,
Усмешкою так растворилось
Угрюмо ратая чело,
Так радостию оживилось
В нем сердце. —
Миновалось зло,
Которо тяжкою судьбою
Веками видел над главою:
Свободный хлебопашец он,
Свободен в ремесле полезном,
И сын в отечестве любезном:
Его под кров приял закон.*

В дальнейшем своем течении ода принимает даже обличительный характер:

*Пусть инде, обольстясь, мечтают,
Что вольность обрели себе, —
Ах, сердцем сжатым оправдают,*

*Что строгой преданы судьбе.
У нас, под сенью мирна трона,
Благотворением закона
Свобода корень пустит свой, —
Ни в бурях, ни в порывах злейших,
Но солнца при лучах теплейших,
И кротко, тихо, как весной{56}.*

На этот раз, впрочем, поэт надеялся не напрасно: за пятьдесят пять лет он предсказал мирное разрешение крестьянского вопроса, которое осуществляется в настоящее время, когда во всех частях народной жизни приводятся в исполнение благие надежды нескольких поколений.

Но возвратимся к екатерининской сатире. Мы видели, что даже в вопросе об отношениях помещиков и крестьян сатира думала идти за великою монархиною, которая совсем и не намерена была подымать этого вопроса. Тем более привязывали тогдашние сатирики все свои действия к правительственным мерам во всех других отношениях. Спешим оговориться, что мы вовсе не ставим этого в упрек тогдашней сатире, а только хотим представить факт, как он есть, с тою целью, чтобы не

преувеличивать его значения. Но вместе с тем мы не хотим скрывать и последствий такой несамостоятельности сатиры; а следствием было то, что она проглядела многие явления, которые по своему вредному влиянию весьма важны в русской жизни. Дело в том, что не все дурное может быть открыто и указано законом. Закон карает преступление и проступок, но не дурной характер, не внутреннее развращение человека: это-то зло, недоступное для кары закона, и должно быть уловлено и опозорено сатирою. Кроме того, есть целые отношения общественные, правильно организованные и даже признанные положительным законом, но тем не менее противные естественному праву; пример — крепостные отношения. Сатира должна преследовать все подобные явления в самом их корне, в принципе. Наконец, сами законы никогда не бывают совершенны: в данное время они имеют известный условный смысл, но с течением времени, по требованию обстоятельств, они должны изменяться; сатира, обличая порок, должна смотреть не на то, какой статье закона он противоречит, а на то, до ка-

кой степени противоположен он тому нравственному идеалу, который сложился в душе сатирика. Вот почему мы находим, что сатира екатерининского времени, при всей своей резкости, не могла удовлетворить высокому назначению истинной сатиры, именно потому, что она слишком тесно связала себя с существовавшим тогда законодательством. Конечно, она не могла поступать иначе: мы это очень хорошо понимаем, помня историю Новикова и др., и вовсе не думаем обвинять тогдашних писателей за недостаток самостоятельности. Но ведь надо же объяснить общественный факт, представляющийся нам в истории нашей литературы; надо же, наконец, бросить хоть догадку, хоть намек (если еще невозможно настоящее объяснение) на то, отчего наша литература сто лет обличает недуги общества, и все-таки недуги не уменьшаются. По нашему мнению, причина этого заключается (по крайней мере заключалась во время Екатерины) в постоянной зависимости сатиры от случайностей положительного законодательства, и эту мысль мы стараемся доказать в нашей статье без всяких упреков

и обвинений кого бы то ни было. Возьмем несколько примеров.

Сатира во время Екатерины преследовала, между прочим, ростовщиков. В большей части указаний на них главный пункт обвинения состоит в том, что они берут очень большие проценты. Рядом с тем представляются отсталые и гнусные люди, которые жалуются на то, что уже нельзя брать более указных процентов. Все это есть очевидное следствие указа 3 апреля 1764 года, которым запрещено брать более шести процентов. – Но что же было следствием и закона и обличений? Только новые прижимки ростовщиков заемщикам. Во время Екатерины были, конечно, между писателями люди, которые способны были рассудить о росте так, как, например, рассуждает неизвестный автор старинной записки об указных процентах, недавно напечатанной («Чтения Московского общества истории», 1858, кн. II, стр. 175–177). Вот некоторые из его соображений:

Закон сей (об указных процентах), по-видимому весьма благонамеренный, достигнул ли и удобен ли достигнуть

своей цели?

Всеобщий опыт убедительно доказывает совершенно тому противное, по крайней мере в Российской империи; ибо едва ли есть кто из заимодавцев частным людям, который отдавал свои деньги взаймы за указные проценты, и, следовательно, едва ли кто из заемщиков пользуется благоприятным помянутого закона, исключая мест казенных, да и из них опекунские советы берут по семи и по девяти на сто, в руках же частных кредиторов повышаются они до десяти, двадцати и более, смотря по обстоятельствам и лицам. Сие происходит уже издавна и существует наиболее во времена настоящие, когда промышленность наша начинает несколько распространяться, а с него вместе и потребность капиталов умножается.

Восходя к источнику неумеренности процентов, нельзя скрыть, что сам закон весьма, важное занимает тут место по следующим причинам:

Произвольное назначение малых процентов и большого наказания за неисполнение повеленного отвлекает из

общественной ссуды великие частных людей капиталы; ибо все ты, которые, чтя свыше установленных, принуждены деньги свои вместо заимообразной раздачи обращать на другие какие-либо заведения и промыслы, приносящие им более прибыли, нежели указные проценты. Из чего следует, что остаются, для удовлетворения нуждающихся заимщиков, те единственно капиталисты, кои, презирая стыд и страх наказания, осмеливаются от исполнения закона уклоняться и для которых другого правила уже быть не может, как чтобы с заимщиков брать проценты сколько можно более, дабы вознаградить свою отважность и опасность. Так точно в азиатских землях, где рост или лихва запрещены во все по закону Алкорана, берутся проценты весьма великие, ради трудности избегнуть закона, сие не дозволяющего, и за сомнительную выручку обратно своих денег.

Таким образом, закон остается не исполнен к ущербу своего достоинства; существование оного производит действия, намерению его совершенно про-

тивны, а кредит общественный ощущает через то немалое стеснение. Хотя же, в других европейских государствах, установлены, подобно как и у нас, указные проценты, но и там закон сей остается без исполнения, ежели мера процентов назначена ниже приобретаемой на капиталы прибыли чрез торговлю и промыслы. А к избежанию силы оного везде есть средства, коих правительство отворотить не в состоянии.

Из чего видно, что количество процентов не подчиняется другим уставам, кроме изобилия или недостатка в ссудных капиталах, и что где можно получить много прибыли от обращения денег в торговлю или промыслы, там обыкновенно и за ссуду дают более процентов; а сие последнее в местах, капиталами недостаточных, бывает необходимо.

По всему сказанному лучше, кажется, такой закон, который вместо пользы явной вред причиняет, вовсе отменить, нежели сохранять его по одному виду благонамеренности, не имея средства преподать ему к желаемому дей-

ствию надлежащую силу.

Вместо подобных соображений сатира прошлого столетия руководилась благоговением к закону о процентах и была убеждена, что он, вспомоществуемый ее усилиями, может уничтожить лихву и разгромить ростовщиков. Оттого все ее «сатирические ведомости» о вексельном курсе у Кащея, об условиях займа у Жидомора и т. п. оказывались просто переливаньем из пустого в порожнее.

Возьмем другой пример. В новиковских журналах несколько раз попадают жалобы невежественных и диких людей на то, что нет более свободного винокурения, а надо брать вино из «государева кружала», чтобы откупщику прибыль делать. Видно, что сатирики, верные своему характеру следовать за правительственными реформами, не только не восставали против откупов, но скорее одобряли их и готовы были смеяться над теми, кто ими тяготился. Иначе им, конечно, и нельзя было по их положению. Откупа только что введены были во всей России с 1767 года. В предварительном указе о них, от 1 августа 1765 года, они признаны самым лучшим

способом сбирания дохода для казны, и вследствие того откупщикам предоставляются многие права и преимущества для привлечения их к этому делу. Во-первых, им предоставляется полная свобода «столько кабаков иметь и в таких местах, сколько и где сами похотят». Потом облагораживается самое звание кабака: «Так как от происшедших злоупотреблений название кабака сделалось весьма подло и бесчестно, то называть их впредь питейными домами и поставить на них гербы, яко на домах, под нашим защищенном находящихся». Сами откупщики и поверенные их получают особенные отличия: «Так как питейная продажа есть коронная регалия, – сказано в указе, – то облагораживаются откупщики монаршим покровительством, и служба их признается казенною, а они именуются коронными поверенными служителями и носят шпаги». Кроме того, в этом же указе утверждается неподсудность их, за исключением уголовных дел, никому, кроме губернатора или камер-коллегии (П. С. З., № 12444). Все это делалось для того, чтобы посредством откупов увеличить доход казны, и действительно,

он увеличился страшно: по свидетельству Щербатова, винные сборы в Москве и С.-Петербурге простирались при Елизавете до 700 000, а в 1785 году доходили уже до 10 миллионов («Московские ведомости», 1859, № 142)!.. Но с кого же выбиралась вся эта сумма?.. Нам нет надобности говорить о несовершенствах откупной системы, всеми признанной теперь разорительною для народа и бесполезною для государства. Мы упоминаем здесь об этом факте только потому, что заметили в сатириках прошлого века склонность подсмеиваться, во имя административных распоряжений, над сознанием простых людей, с самого начала враждебно взглянувших на откупа.

Но нам могут сказать, что сатира должна поражать зло уже развившееся, господствующее, обнаружившее свое влияние, а не то, которое находится еще в зародыше. Сатира должна действовать в настоящем, и нельзя от нее требовать предведения будущего... Правда, – но в том-то и беда, что наша сатира, «от Нестора до наших дней»{57}, постоянно была в положении, которое заставляло ее обращать свои обличения вовсе не на сильное и

настоящее, а на слабое и прошедшее. Откупной системы никто не обличал не потому, чтобы при ее начале никто не мог понять могущего произойти от нее вреда, а просто потому, что она получила тогда законную силу и вследствие того сделалась уже недоступною для сатиры, во всех своих обличениях опиравшейся на постановления закона. Для полнейшего убеждения в справедливости этой мысли стоит вспомнить, что на откупа никто у нас не вооружался до тех пор, пока не было решено падение нынешней откупной системы.

И не в отношении к одним откупам сатира прошлого века выказала слепое последование букве закона. Возьмем другое явление, например – рекрутчину. В сатирических журналах много есть заметок, обличающих плутни, бывшие при рекрутских наборах в противность законам. Заметки эти были иногда очень практичны и полезны и указывали на возникшие злоупотребления очень прямо. Например, в «Трутне» 1769 года (стр. 199) помещено такое письмо:

Г-н издатель! При нынешнем рекрутском наборе, по причине запрещения чинить продажу крестьян в рекруты, и с земли до окончания набора, показало новобретенное плутовство. Помещики, забывшие честь и совесть, с помощью ябеды выдумали следующее: продавец, согласясь с покупщиком, велит ему на себя бить челом в завладении дач; а сей, имев несколько хождения по тому делу, наконец подаст обще с истцом, мировую челобитную, уступая в иск того человека, которого он продал в рекруты.

Известие очень полезное, и нет сомнения, что такие вещи действительно делались. Но в них ли было главное зло в этом случае и можно ли было их уничтожить без изменения причин, которые их производили? А отчего происходили подобные злоупотребления? Во-первых, опять-таки от крепостного права, во-вторых, от чрезвычайного излишества наборов, произведенных в царствование Екатерины. Известно, что рекрутские наборы, иногда по два в год, по одному человеку с 300 и с 200 душ, страшно обременяли Россию во все вре-

мя ее царствования. В прошлом году напечатана у нас записка кн. М. М. Щербатова о первой турецкой войне (1768–1774 годы), найденная в его бумагах г. Заблоцким («Библиографические записки», 1858, № 13, стр. 408–410). Цифры и указания Щербатова наводят на мысли очень невеселые. По его вычислению, в пятьдесят лет, с 1718 года, в Великой России «взято 1 132 001 рекрут, то есть шестой человек из положенных в подушный оклад, а конечно, не меньше третьего из работников». В первые годы царствования Екатерины до турецкой войны в семь наборов собрано до 327 044 человек, кроме церковных причетников. И этого количества было еще недостаточно. «Колико наборы ни разорительны государству, – пишет Щербатов, – ибо, считая со всего числа душ, уже почти 23-й человек в рекруты взят, а с числа работников смело положить можно 11-й или 10-й; а со всем тем армия не довольствована, ибо предводители оных беспрестанно жалуются на малое число людей оных». Изыскивая причины того, Щербатов находит, что все это, исключая военной необходимости, объясняется небрежностью и

дурными распоряжениями при производстве наборов. Во-первых, тогда было в обычае, что помещики многих крестьян ссылали в Сибирь на поселение, с зачетом их в рекруты; это было до того распространено, что набор 1767 года, по свидетельству Щербатова, «только и служил для расчета с теми, которые в зачет людей отдали, да и то большую часть на поселение в Сибирь». Во-вторых, наборы производились неправильно, внезапно, форсированно, так, что взятые вдруг рекруты принуждены были «не только в дальний путь идти, но и переменить воздух, так что, пришед в некомплектованные полки, где, по нужде людей, им выгод и отдыху дать не можно было, токмо число мертвых приумножили, и армия по-прежнему в некомплекте осталась». Соображая все это, Щербатов приходит к заключению, что, вместо двух наборов, спешно произведенных в 1765 году по одному с трехсот, лучше уж было бы сделать своевременно один набор по одному со ста душ: и армия бы укомплектовалась, да и народу было бы легче... Все эти соображения относятся как раз к тому времени, когда особенно процветала на-

ша сатира. Но она далека была от мысли взглянуть на войну с той точки, чего она стоит народу; сатирические журналы в это самое время печатали высокопарные приветствия по случаю побед. Так, например, «Всякая всячина» начинает свой «Барышек» 1770 года поздравлением по случаю успехов российского оружия и говорит так:

До восплещут убо руками все языцы, да возрадуются народы и племена, тяжким игом чрез многие лета угнетенные, да възиграет море, острова и земля, видя приближающееся свое от горкия работы спасение и избавление, коего единственною виновницею премудрую Екатерину и разумно ею устроенный совет не только настоящий провозгласит век, но и грядущие еще громчае прославят времена («Всякая всячина», стр. 412).

Что могло быть виною подобных гимнов, как не постоянная связь сатиры с официальным ходом русской жизни? И что же мудреного при этом, что воззвания сатиры против частных злоупотреблений при наборах мало имели успеха? Одно общее злоупотребление

неминуемо вызывает другие, мелкие; а из записки Щербатова мы ясно видим, что в самом основании производства наборов в то время было большое злоупотребление. Его записка относится к началу семидесятых годов; но то же, конечно, продолжалось и в последующие 25 лет. В 1796 году, незадолго до смерти Екатерины, назначен был рекрутский набор; но Павел I, вступив на престол, нашел возможным и нужным отменить его, и тотчас же отменил.

«По ведь литература не может иметь претензии на прямое административное значение: довольно с нее и того, если она старалась вообще внушать гуманные идеи и благородные чувствования. А это она делала в век Екатерины постоянно и очень усердно. Где ни раскройте сатирические журналы, везде вам попадется – то насмешка над глупую спесью, то обличение бесчеловечных поступков, то злая выходка против эгоистических расчетов, то внушение правил человеколюбия, снисходительности к низшим, правдивости перед высшими, честности, любви к отечеству и пр. В этом-то постоянстве добрых стремлений,

насколько было возможно их обнаруживать по обстоятельствам времени, в этой-то неуклонной последовательности направления, враждебного всему злumu и бесчестному, и состоит высокое нравственное достоинство сатиры екатерининского периода. Пусть она не отличалась всеобъемлемостью, пусть она даже впадала в ошибки и шла иногда вслед за такими явлениями русской жизни, которым бы должна была идти навстречу. Но за это нельзя обвинять ее, нельзя над нею трунить: это будет нимало не остроумно и даже недобросовестно. Нужно, напротив, поблагодарить ее за то, что она честно делала свое дело и проложила дорогу нам, людям позднейшего времени, для продолжения борьбы с пороком уже в гораздо больших размерах».

Так непременно возразят нам почтеннейшие историки литературы и другие деятели русской науки, о которых говорили мы в начале нашей статьи. У них вечно на языке «уважение к честным деятелям мысли», «благодарность к глашатаям правды и добра» и т. п. Смеем уверить почтенных историков литературы, трудолюбивых библиографов и

московских публицистов, что мы ничуть не менее их одушевлены уважением и любовью к таким людям, как, например, Новиков. Но неужели в русском обществе даже до сих пор степень нравственного достоинства благородных общественных деятелей может быть рассматриваема нераздельно со степенью их успеха? И неужели мы, говоря, что все старания их были безуспешны, чрез то самое бросаем тень на их благородство? Наконец, неужели мы обижаем кого-нибудь, стараясь указать причины этой безуспешности, так часто не зависевшие от воли самих деятелей? Мы ведь не упрекаем наших сатириков в подлости и ласкательстве за то, что они писали иногда пышные дифирамбы золотому веку, мы не подозреваем их в боярской спеси за то, что они мало обращали внимания на состояние простого народа в их время. Подобных подозрений мы не только не высказываем, мы вообще не имеем их. Но надо же (повторим здесь еще раз) выяснить истинное значение факта, о котором так много и так восторженно кричат сами наши историки литературы. Если наша точка зрения и различается несколько

от воззрений библиографических, так это давно бы пора уже понять и не коверкать наших слов. Положим, что мы рассуждаем с вами, например, при начале итальянской войны; вы приходите в неописанный восторг от статей, в которых доказывается, что наконец пришла пора свободы Италии и что австрийское иго нестерпимо и т. п., а мы спокойно замечаем вам, что ведь это, однако, ничего не значит, что надежды восхваляемых вами статей неосновательны, что союзом с Францией Италия теперь не приобретет себе истинной свободы. И вдруг вы бросаетесь на нас с обвинением в том, что мы не сочувствуем делу Италии, и стараетесь нас поразить, указывая литературные достоинства статей, которые привели вас в восторг. «Посмотрите, как это сильно сказано, как это логически выведено, как остроумно задета здесь австрийская система, как горячо выразилось тут сочувствие к итальянской народности», и пр. «Все это прекрасно, — отвечаем мы, — статьи написаны превосходным слогом и делают честь благородству чувствований их авторов; но нас интересует не слог и не благородство писателей,

а практическое значение их идей. И с этой стороны мы находим их статьи, к крайнему своему прискорбию, не только не важными, но и вполне незначительными...» Затем мы сделаем, пожалуй, даже объяснение причин, по которым так думаем, вроде того, какое сделано в майском и августовском политическом обозрении «Современника»{58}. Но вы все-таки будете толковать о нашем неуважении к Кавуру и итальянским патриотам; прощательно ли и добросовестно ли будет это с вашей стороны?

Итак, не заподозревая и не унижая благородных стремлений наших сатириков, мы, однако, решимся утверждать, что их обличения были безуспешны в век Екатерины. Причиной же безуспешности мы признаем главным образом наивность сатириков, вообразивших, что прогресс России зависит от личной честности какого-нибудь секретаря, от благосклонного обращения помещика с крестьянами, от точного исполнения указов о винокурении и о шести процентах, и т. д. Они не хотели видеть связи всех частных беззаконий с общим механизмом тогдашней органи-

защиты государства и от ничтожнейших улучшений ожидали громадных последствий, как, например, уничтожения взяточничества от учреждения прокуроров, и т. п. И зато каких результатов добились они, не говоря о сфере административной и т. д., даже в той области, которая была их специальностью, — в деле улучшения общественной нравственности? Сделаем коротенький очерк того положения, в какое пришли нравы после всех этих обличений.

Главные предметы обличения сатиры екатерининского времени были: во-первых, недостаток воспитания, невежество и грубость нравов; во-вторых, ложное образование, то есть французские моды, роскошь, ветренность и т. п.; в-третьих, приказное крючкотворство и взяточничество. По этим трем предметам г. Афанасьев даже разделяет рассмотрение сатиры того времени по трем особым главам. Посмотрим же, что ею сделано.

Каким образом сатирические журналы осмеивали невежество, грубость и дурное воспитание, это уже мы отчасти видели из предыдущих выписок. Прибавим, что они

очень верно понимали круговую поруку дурного воспитания и грубости помещичьего быта того времени. Худо воспитанные люди, изображаемые в сатирических журналах, — преимущественно «господчики», как тогда выражались. Так, один из подобных господчиков, уже исправившийся, рассказывает о своем воспитании:

Отец мой, дворянин, живучи с малых лет в деревне, был человек простого нрава и сообразовался во всем древним обычаям; а жена его, моя мать, была сложения тому совсем противного, отчего нередко происходили между ними несогласия, и всегда друг друга не только всякими бранными словами, какие вздумать можно, ругали, но не проходило почти того дня, чтобы они между собою не дрались или людей на конюшне плетьюми по секли. Я, будучи в доме их воспитыван и имея в глазах таковые поступки моих родителей, чрезмерную возымел к оным склонность и положил за правило себе во всем оным последовать. Намерение мое было гораздо удачно; ибо я в скорое время, к удивлению всех домашних,

уже совершенно выражал все бранные слова, которые, бывало, от родителей своих слышу; а что до тиранства принадлежало, то уже в том и родителей своих превосходил, хотя и они в сем искусстве гораздо неплохи были («Живописец», II, 180).

Далее сообщается еще любопытная черта того времени:

Матушка моя, пришедши из конюшни, в которой, по обыкновению, ежедневно делала расправу крестьянам и крестьянкам, читает, бывало, французскую любовную книжку и мне все прелести любви и нежность любезного пола по-русски ясно пересказывает...

Следствием этого было то, что тринадцати лет мальчик уже был совершенно развращен и, «влюбившись в комнатную дома нашего девку, сделался в короткое время невольником рабы своей», а потом, спознавшись с сыном соседнего помещика, воспитанным также хорошо, принялся за игру, пьянство и др. Другой господчик пишет во «Всякой всячине»:

Провождая дни свои в деревне, был я воспитан бабушкою, которая любила меня чрезвычайно. Первые мои лета упражнялся я, проигрывая с крестьянскими ребятами целые дни на гумне; часто случалось, что бивал их до крови, и когда приходили они к учителю (который был старый дьячок нашего прихода), то он отгонял их. Бабушка моя под жесточайшим гневом запретила ему ниже словом не огорчать меня.

Четыре года учась у этого учителя, мальчик до тринадцати лет едва выучился разбирать букварь. Тут отец хотел ему выписать француза, но бабушка воспротивилась; «так прошел еще год, которое время проводил я, резвяся с девками и играя со слугами в карты» («Всякая всячина», стр. 241, 243){59}. В письме к Фалалею отец его также вспоминает, как он, маленький, вешивал собак на суцьях и порол людей так, что родители, бывало, животики надорвут со смеха («Живописец», I, 94). В «Трутне» рассказывается о дворянине, который «ездил в Москву, чтобы сыскать учителя пятнадцатилетнему своему сы-

ну, но, не нашед искусного, возвратился и поручил его воспитание дьячку своего прихода, человеку весьма дородному» («Трутень», стр. 125){60}. Подобными заметками исполнены все сатирические журналы 1770-х годов; но большая часть из них обращена назад, на времена прошедшие. А во время самого разгара действий сатиры все было уже так хорошо, что сами худо воспитанные вразумлялись и очень искренно сожалели о небрежности своего воспитания. Только люди старого времени продолжали держаться своих понятий и сердились на новое направление молодежи, как, например, в письме дяди к племяннику, помещенном в «Трутне» (стр. 113–120){61}.

Ты подавал большие надежды отцу, – пишет дядя, – потому что до двадцати лет жил дома и не читал книг, со-вращающих с пути истины, а занимался часовником и житиями святых. Куда это все девалось? Сказывали мне, будто ты по постам ешь мясо и, оставя священные книги, принялся за светские. Чему ты научишься из тех книг? Вере ли несомненной, любви ли к богу и ближним, надежде ли быти в райских

селениях, в них же водворяются праведники? Нет, от тех книг погибнешь ты невозвратно. Я сам грешник, ведаю, что беззакония моя превзыдоша главу мою; знаю, что я преступник законов, что окрадывал государя, разорял ближнего, утеснял сирого, вдовицу и всех бедных, судил на мзде; и, короче сказать, грешил и, по слабости человеческой, еще и ныне грешу; но не погасил любви к богу, исповедаю бо его пред всеми творцом всея вселенныя... и пр.

Затем дядя перечисляет свои бдения, посты и молитвы и опять переходит к брани на ученье, из которого происходит только гордость... Все это, разумеется, клонится к тому, что старое невежество отживает и на место его водворяется свет знания... Это еще положительнее выражается в «Живописце». Там одна барышня говорит:

Здесь вовсе свету подражать не умеют; а все то испортили училища да ученые люди: куда ни посмотришь, везде ученый человек лишь сумасбродит и чепуху городит («Живописец», I, 63).

Не упоминаем восторженных изъявлений

радости о водворении гуманных понятий волею российской Минервы; мы много их привели уже выше.

И что же? Какой успех имела в этом деле сатира, которая готова была верить, что она добивает уже остатки прежнего невежества? Действительно, обличаемые ею явления были у нас в силе еще задолго прежде. Из записок Болотова (1753–1754), из воспоминаний Данилова, родившегося в 1722 году{62}, мы видим, что так же было и за двадцать – тридцать лет ранее. Еще раньше – было, разумеется, еще хуже. Но лучше ли было и после? Вспомним рассказы наших современников о том, как шло их воспитание, в начале нынешнего столетия. Прочтите «Семейную хронику» и «Детские годы» С. Т. Аксакова, прочтите «Годы в школе» г. Вицына («Русская беседа», 1859, № 1–4), «Незатейливое воспитание», из записок А. Щ. в «Атенее» (1858, № 43–45), – не та ли же самая история повторялась у нас в частном воспитании, вплоть до француза по крайней мере?

А общественное воспитание, то есть то, собственно, что мы называем образовани-

ем? – Оно тоже было не в блестящем положении в то время, когда сатирические журналы выступили на свое поприще. Приведем одну выдержку из «Живописца» о том, как все общество враждебно расположено было к образованию.

«Что в науках, – говорит Наркис, – астрономия умножит ли красоту мою паче звезд небесных? Нет; на что мне она? Мафиматика прибавит ли моих доходов? Нет; черт ли в ней? Физика изобретет ли новые таинства в природе, служащие к моему украшению? Нет; куда она годится!» и пр. Этот Наркис танцует прелестно, одевается щегольски, поет «как ангел; красавицы почитают его Адонисом», словом, это – светский человек. Совсем другое говорит Худовоспитанник, офицер-бурбон. «Науки сделают ли меня смелее? – рассуждает он, – прибавят ли мне храбрости? сделают ли исправнейшим в моей должности? – Нет: так они для меня и не годятся. Вся моя наука состоит в том, чтобы уметь кричать: «пали! коли! руби!» и быть строгу до чрезвычайности к сво-

им подчиненным». Однако – времена переменились, и худовоспитанник не может получить высшего чина, потому что ни о чем не умеет рассудить; обиженный, он выходит в отставку и «едет в другую неприятельскую землю, а именно во свое поместье. Служа в полку, собирал он иногда с неприятелей контрибуцию, а здесь со крестьян своих: собирает тяжкие подати. Там рубил неверных, а здесь сечет и мучит правоверных. Там не имел он никаких жалости; нет у него и здесь никому и никакой пощады, и если бы можно было ему с крестьянами своими поступать в силу военного устава, то не отказался бы он их аркебузировать».

Кривосуд имеет тоже сильные резоны против наук. Он спрашивает: «По наукам ли чины раздаются? Я ничему не учился, однако ж я судья. Моя наука теперь в том состоит, чтобы знать наизусть все указы и в случае нужды уметь их употреблять в свою пользу. Науками ли получают деньги? Науками ли нарушаются деревни? Науками ли приобретают себе покровителей? Науками ли доставляют себе в

старости спокойную жизнь? Науками ли делают детей своих счастливыми? Нет! Так к чему же они годятся? Будь ученый человек хоть семи пядей во лбу да попадись к нам в приказ, то переучим его на свой салтык, буде не захочет ходить по миру». В этом же роде рассуждает и Молокосос, которому дают чины по милости дядюшки, деньги присылает батюшка и которого начальники не только любят, но еще стараются угождать ему, делая тем услугу знатным его родственникам, и пр. Щеголиха говорит: «Как глупы те люди, которые в науках самые прекрасные лета погубляют! Ужасно, как смешны ученые мужчины! А наши сестры, ученые, – о, они-то совершенные дуры! В слове уметь нравиться все наши заключаются науки», и пр. Волокита рассуждает так: «Какая польза мне в науках? Науками ли приходят в любовь у прекрасного пола? Науками ли нравятся? Науками ли упорные побеждают сердца? Науками ли украшают лоб (мужа)? Науками ли торжествуют над солубовниками? Нет, так они для меня и не годятся» («Жи-

Почти то же самое, и даже в подобной же диалогической форме, говорил за сорок лет ранее Кантемир в сатире «На хулящих учение». И скажем по совести: хоть одно из всех приведенных нами рассуждений «Живописца» потеряло ли свою свежесть и справедливость даже *в настоящее время, когда, и пр.?* – Не повторяет ли до сих пор какой-нибудь Вышневецкий мыслью Кривосуда, Вихорев – Волокиты, и т. п.?{63} Что же это значит? Конечно, то, что общество наше не очень далеко ушло в последние девяносто лет на поприще образования! В самом деле – оглянитесь вокруг себя: чего должен ожидать и чему подвергается в нашем обществе человек, посвятивший себя занятиям наукою, даже если он не школьный педант? «Дойти до степеней известных»{64} ему не удастся, если он честен и горд; так называемая ученая карьера у нас во все не пользуется почетом и представляет какую-то пародию на карьеру. Состояние до сих пор наукою у нас не приобретается; разве какой-нибудь спекулятор сочинит плохой учебник да напечатает его двадцать изданий для

заведений, в которых начальствует он сам или его сваты и приятели. В обществе нашем человеку серьезно образованному нечего делать: если он не сядет за карты, то непременно нагонит тоску на всех присутствующих. О женщинах нечего и говорить: они еще долго не перестанут быть танцующими и говорящими куклами; сердце их еще долго будет сладостно замирать при виде усов и эполет; для того чтоб привлечь их расположение, долго еще надо будет «уметь одеваться со вкусом и чесать волосы по моде, говорить всякие трогательные безделки, вздыхать кстати, хохотать громко, сидеть разбросану, иметь приятный вид, пленяющую походку, быть совсем развязану» («Живописец», I, 26)... Где же наш прогресс, где результаты сатирических обличений?

Где ж плоды той работы полезной?{65}

Надо, впрочем, заметить, что вопрос об образовании поставлен очень широко в приведенных нами рассуждениях. Здесь уже вина равнодушия к наукам падает не на личные

качества отдельных особ, а на устройство и направление целого общества. Действительно, глупо и непрактично в этом обществе заботиться об украшении ума науками, и все тупоумные выходки Кривосудов, Худовоспитанников и других имеют, в сущности, глубоко справедливое основание. Если бы сатира наша сумела утвердиться на этом основании, она бы дошла до многого. В самом деле, припомните все выходки, сгруппированные «Живописцем», и задайте вопрос: что же нужно, чтобы в этом обществе могла водвориться разумность, могло распространиться истинное образование? Ответ будет простой: нужно изменение общественных отношений. Надо, чтоб никакие преимущества знатности и протекции не имели влияния на определение судьбы человека: тогда и *Молокосос* будет учиться, чтобы суметь чего-нибудь достигнуть. Нужно, чтобы в судах не было произвола, чтобы законы не были достоянием одной касты, а строго и равно охраняли права каждого: тогда и *Кривосуд* поймет необходимость науки. Нужно, чтобы всякий из людей служащих был не слепым орудием в руках другого,

а имел свою долю участия в общественных интересах: тогда и в беседах наших необходимо появится дельный разговор, и какой-нибудь *Наркис* принужден будет отказаться от своих трогающих безделок для разговора более дельного; а при этом он необходимо должен будет почувствовать цену образования... Наконец, самое главное, нужно, чтобы значение человека в обществе определялось его личными достоинствами и чтобы материальные блага приобретались каждым в строгой соразмерности с количеством и достоинством его труда: тогда всякий будет учиться уже и затем, чтоб делать как можно лучше свое дело, и невозможны будут тунеядцы, подобные *Худовоспитаннику*, который выходит в отставку, чтобы в деревне безобразничать над крестьянами. Тогда даже и *Волокиты* (самый безнадежный народ, больше всё из военных) захотят чему-нибудь выучиться, потому что иначе им не на что будет не только одеться со вкусом, но даже и убрать свои волосы... Да и *Щеголихи* тогда переменят свои воззрения, если только сами они уцелеют при таком изменении общественных отношений... А пока

продолжается то положение дел, какое изображала сама же сатира екатерининского периода, до тех пор должно продолжаться «темное царство», которое недавно обзревала мы в сочинениях Островского. Просим читателя припомнить или просмотреть то, что мы говорили тогда о возможности и значении образования в «темном царстве», под влиянием самодурных отношений{66}. К сожалению, екатерининская сатира не удержалась на точке зрения общественности и не развила тех идей, которых зародыш заключался в приведенном нами из «Живописца» очерке русских воззрений на образованность. Кажется, сатирики и сами, впрочем, не совсем ясно сознавали возможное значение этого очерка. Из других статей сатирических журналов видно, что они полагали всю надежду на книги и училища. Что касается до книг, то мы уже говорили выше, много ли значения могли иметь они и какие затруднения встретились им тотчас же, как только стало похоже на то, что они приобретают самостоятельное значение. Прибавим, однако, что до конца царствования Екатерины наши сатирики не переста-

вали восхвалять данную им свободу мыслить и говорить. В 1788 году Фонвизин задумал было издавать сатирический журнал: «Друг честных людей, или Стародум»{67}. Для этого издания написал он несколько мелких статей и, между прочим, письмо к Стародуму с просьбою у него статей в журнал.

Не страшусь я строгости цензуры, – пишет он, – ибо вы, конечно, не натянете ничего такого, что бы напечатать было невозможно. Век Екатерины Вторья ознаменован дарованием россиянам свободы мыслить и изъясняться. «Недоросль» мой, между прочим, служит тому доказательством, ибо назад тому тридцать лет ваша собственная роль могла ли быть представлена и напечатана? Правда, что есть и ныне люди, стремящиеся вредить всему тому, что невежество и порок их обличает; но таковое немощной злобы усилие, кроме смеха, ничего дурного ныне произвести не может.

В ответ на это Стародум, со своей стороны, тоже восхваляет «век, в котором честный человек может мысль свою сказать безбоязнен-

но». Между прочим, он пишет (Сочинения Фонвизина{68}, стр. 545–548):

Я сам жил большою частию тогда, когда каждый, слушав двоих так беседующих, как я говорил с Правдиным, бежал прочь от них стремглав, треща, чтоб не сделали его свидетелем вольных рассуждений о дворе и о дурных вельможах; но чтоб мой сей разговор приведен был в театральное сочинение, о том и помышлять было невозможно; ибо погибель сочинителя была бы наградю за сочинение. Екатерина расторгла сии узы. Она, отвергая пути к просвещению, сняла с рук писателя оковы и позволила везде охотникам заводить вольные типографии, дабы умы имели повсюду способы выдавать в свет свои творения. Итак, российские писатели! какое обширное поле предстоит вашим дарованиям! Если какая робкая душа, обитающая в тело знатного вельможи, устремится на вас, от страха, чтоб не терпеть унижения от ваших обличений, если какой-нибудь бессовестный лихоимец дерзнет, подкапываясь под законы, простирает хищную руку на грабеж

отечества и своих сограждан, то перо ваше может ясно обличать их пред троном, пред отечеством, пред светом. Я думаю, что таковая свобода писать, каковою пользуются ныне россияне, поставляет человека с дарованием, так сказать, стражем общего блага. В том государстве, где писатели наслаждаются дарованною нам свободою, имеют они долг возвысить громкий глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с пером в руках может быть иногда полезным советователем государю, а иногда и спасителем сограждан своих и отечества.

Нельзя не заметить, что Стародум несколько далеко хватил в своем самодовольстве; но это дает нам меру той благородной доверчивости и наивности, с которою тогдашние сатирики смотрели на свое дело.

Скажем несколько слов и об училищах. О заведении их заботилась Екатерина с самого начала своего царствования. Преимущественно обращено было ее внимание на заведение «воспитательных училищ», в которых цель

была, по выражению Бецкого, произвести в России «новую породу людей» (доклад Бецкого 12 марта 1764 года){69}. В этих видах основаны были женские воспитательные училища, где и положено начало тому закрытому, казенному воспитанию, против которого так сильно восстает современная педагогика за то, что оно отчуждает детей от семьи; на тех же началах основано было несколько кадетских корпусов. Собственно же к устройству училищ, не имеющих воспитательного значения, Екатерина приступила только уже во вторую половину своего царствования, да и то потому, что на устройство воспитательных заведений во всех городах, по первоначальному плану, недостало денег. В 1775 году, при учреждении губерний, вменено было в обязанность приказам общественного призрения – стараться о заведении училищ; но это ни к чему не повело: приказы не открыли почти ни одного училища, отзываясь тоже неимением средств. По местам и пробовали открывать формальным образом; но ни учителей, ни книг неоткуда было взять, и ученики не являлись. Это все было около того вре-

мени, когда литература пела уже разлитие лучей просвещения по всем закоулкам русского царства. Наконец в 1782 году составлена комиссия об учреждении народных училищ. В комиссии этой, вместе с Бецким и Завадовским, участвовал известный педагог Янкович ди Мириево. В обзоре деятельности этого человека, изданном в прошлом году г. Вороновым^{70}, находятся любопытные сведения о первоначальном заведении училищ при Екатерине. Нужно сказать, что 1782–1784 годы были временем особенно литературного и ученого настроения императрицы. Тут она основала Российскую академию, дозволила заведение вольных типографий, составила план сравнительного словаря всех языков и наречий^{71}, издавала с Дашковой «Собеседник». Тут же шло и дело об училищах. Предварительные работы комиссии были представлены через три года, и 5 августа 1786 года издан указ об открытии народных училищ во всех городах Российской империи. В то же время приказано было комиссии составить план для учреждения гимназий и четырех университетов, сначала в Екатеринославле,

а потом во Пскове, Пензе и Чернигове, с тем притом, чтобы профессора были русские. Комиссия была в затруднении и обратилась в Академию наук и в Московский университет с просьбою, не могут ли они уделить несколько профессоров для новых университетов. Те отвечали, что у них у самих мало. Вследствие того комиссия донесла в 1787 году, что необходимо вызвать ученых иностранцев, да и то на четыре университета вдруг набрать трудно, и потому не достаточно ли покамест учредить хоть один. При этом представлялся и план нового университета. Это было в 1788 году. Но тут политические заботы помешали {72}, и до смерти Екатерины не было учреждено ни одного университета.

Гимназии тоже были открыты уже в царствование Александра.

Немногим лучше устроилось дело и собственно народных училищ. В то время как издан был указ об их открытии, государственные финансы были уже крайне истощены, и потому вся хозяйственная часть предположенных училищ отнесена была не на государственное казначейство, а на счет прика-

зов общественного призрения. Но и в приказах денег было очень мало, и потому многие из предполагавшихся училищ вовсе не открыты, а другие и открывались, да потом сами не рады были. Администрация их была самая сложная, они зависели и от своего директора или смотрителя, и от председателя и чиновников приказа, и от губернатора, и от комиссии училищ. Средства были очень скудные, помещение плохое, жалованье учителям ничтожное, содержание казенным ученикам выдавалось неисправно, учебных пособий почти никаких не давали. Естественно, что ни у кого не являлось охоты ни учиться, ни быть учителем, тем более что ученье не вознаграждалось никакими преимуществами, а учителя даже чинов не получали и должны были непременно прослужить в своей должности преподавателя в высших классах не менее 23, а в низших не менее 36 лет, для того чтобы получить чин коллежского асессора и выйти в отставку без всякой пенсии. Вообще ученье было в загоне, и им вовсе не дорожили даже и по внешности. Дворяне обыкновенно записывались прямо в полк, после такого воспита-

ния, какое описывалось в «Живописце» и в «Трутне», и когда при императоре Александре последовал указ о производстве в офицеры только грамотных, то оказалось чрезвычайно много не знавших грамоте унтер-офицеров из дворян. Таковы были результаты стараний о заведении народных училищ – стараний, на которые тогдашняя литература возлагала такие надежды и по поводу которых воспевала золотой век и царство знаний в России.

Но откуда же эта скудость денежных средств, помешавшая осуществлению просветительных намерений Екатерины? Мы знаем, что она начала свое царствование повелением бить медную монету по 16 рублей из пуда вместо 32, как было прежде, начертанием новых правил для нашей заграничной торговли, «к облегчению тягости народной», понижением цены на соль и пр. Значит, большой скудости при начале не было. А в течение своего царствования она ввела новый порядок сбора податей, повелела генерал-прокурору составлять ежегодные бюджеты, которых прежде не было, вообще, по учебнику Устрялова, «чрезвычайно увеличила государствен-

ные доходы, без отягощения подданных»: при начале ее царствования наши доходы составляли 20 миллионов, а при конце доходили до 50 (см.: Устрялов, II, 259). Какая же могла быть скудость, судя по этим сведениям, занесенным даже в учебник?.. Правда, судя по этому месту учебника, нельзя предполагать оскудения финансов; но это потому, что здесь излагаются, между прочими деяниями Екатерины, и благотворные меры ее для улучшения финансовой части. Указаний же на расстройство финансов при Екатерине нужно искать в другом месте, там, где излагаются г. Устряловым благотворные меры императора Павла для улучшения финансовой части. Там, действительно, и находим (стр. 275–276):

Государственные финансы в последние годы царствования Екатерины находились не в цветущем состоянии: обременительные войны с Турциею, Швециею, Польшею, Персиею истощили казну; доходы не покрывали расходов; внешний долг, незначительный до начала второй турецкой войны, от новых займов увеличился до 46 миллионов рублей серебром; долг внутренний,

составившийся от выпуска ассигнаций, простирался до 157 миллионов; заграничные переводы были невыгодны; денежный курс с каждым годом быстро понижался; ассигнационный рубль со времени второй турецкой войны постепенно упал и в 1796 году стоил только 68 коп. на серебро; всеобщее потрясение европейской торговли французскою революциею расстроило и наши коммерческие обороты; банкротства увеличились; общественный кредит колебался.

Так вот к чему привело непомерное увеличение доходов. Однако же все-таки отчего это? Конечно, войны были, да ведь войны все оканчивались счастливо; мы приобрели в царствование Екатерины 32 000 квадратных миль земли и на 12 миллионов увеличили народонаселение. Кроме того, были экстраординарные источники доходов. Например, монастырские крестьяне, в числе 900 000, были взяты в казну и обложены довольно высокою по тогдашнему времени податью (указ 26 февраля 1764 года); раскольников, которых Петр III велел было освободить от всяких розысков

(февраль 1762 года), велено было указом 3 марта 1764 года при новой ревизии всех переписать аккуратно и обложить двойным подушным окладом. Но дело в том, что подобных доходов было все-таки мало для покрытия необычайных расходов, которые нужны были в то время. Причиной этих расходов была всеобщая роскошь, распространившаяся в то время, и против нее-то, между прочим, составляли тогдашние сатирики с особенною силою, хотя, разумеется, опять не проводили уровня своей сатиры над всем обществом, а выбирали, что помельче. «Трутень» изображает мота, который «то в день съедает, что бы в год ему съесть надлежало, держит шесть карет и шесть цугов лошадей, опричь верховых и санных, и сносит в год до двадцати пар платья» («Трутень», стр. 219){73}. «Смесь»{74} обличает таких, которые на один стол издерживали в год до 14 000 рублей. «Живописец» обличает модных дам, которые прогуливались по гостиному двору и обнаруживали «превеликое желание покупать, или, лучше сказать, брать, всякие нужные и ненужные товары» («Живописец», II, 133). В «Трутне»

осмеивался помещик, который содержал «великое число псовой охоты и ездил на ярмарки верст за 200 весьма великолепно, а именно: сам в четвероместном дедовском берлине в 10 лошадей, и еще 12 колясок, запряженных 6 и 4 лошадьми, исключая повозок, и фур с палатками, поваренною посудю и всяким его господским стяжанием... Об этом дворянине, однако ж, замечается, что он проживает не больше ежегодного своего дохода, а получает он шесть тысяч рублей («Трутень», 125) {75}. Из этого отчасти уже видно, что сатира того времени признавала главным источником роскоши – не дедовское житье со всей его сытностью и раздольем, а нечто другое. Это другое заключалось именно в подражании французам. Большая часть наших злобных сатир на французов произошла не столько из «любви к отечеству и народной гордости», сколько с досады на то, что они нас разоряют. Нападали на французских парикмахеров за то, что они с иных «господчиков» получают по 30 руб. в месяц, а с других берут 200 руб. в год, платье, стол и экипаж («Адская ночь», стр. 14). Обличали французских портных, ко-

торые «продают искусство свое весьма дорого» («И то, и се», неделя 24){76}, самозванных учителей, которые ни за что ни про что получали большие деньги, обыкновенно рублей 500 со столом, прислугою и экипажем («Вечера», I, 12; «Кошелек», 140){77}. Особенное зло причиняло это помещикам, которых французские гувернеры без церемонии надували и обворовывали. «Этот манер завелся и у деревенских бояр, – пишет Стародуров в «Полезном с приятным» (стр. 24), – так что за иным не более 300 душ, а у него живет иноземец и дерет с него очень, очень порядочные денежки». Сатириков наших очень возмущали также постыдные спекуляции, на которые пускались учителя-французы. Например, в «Кошельке» осмеивается французский гувернер, сам себя произведший в шевалье де Мансонж: этот плут, поступивши к одному помещику, «в свободное время занимался переделкою простого табаку в *розовый* и продавал его по 5 и по 10 руб. за фунт». Но особенно было ужасно то, что они научали мотовству юношество, которое попадало в их руки. Ученье француза-гувернера обыкновенно оканчива-

ется в наших сатирических рассказах тем, что воспитанник выучивается играть на бильярде, в банк и в *квинтич* и проматывает все отцовское состояние. Не менее азартных игр разоряли тогда дворян «французские моды». Не говоря уже о том, что парижские парикмахеры и портные брали очень дорого и что балы обходились в большие суммы, жизнь по моде вредна была еще тем, что расстроивала домашнее хозяйство. Модница уже не может сидеть дома и смотреть за хозяйством. В «Трутне» (1770, стр. 43) помещено письмо одной барыни, которая, сделавшись модницей при помощи французской мадамы, с отвращением вспоминает о том, что она прежде «только и знала, когда и как хлеб сеют, капусту сажают и пр., и не умела ни танцевать, ни одеваться». Если модной жене муж «осмелится напомнить о домашней экономии, о которой модная женщина считает за подлость иметь понятие, тут он пропал!» («Вечера», I, 188). Замечательно, что в сатирических нападках на французов экономическая и внешняя сторона играет очень видную роль, а собственно идеи французов не подвергались

осмеянию до самого того времени, как политическое движение во Франции заставило их опасаться. В 1770-х годах, напротив, господствовало даже, и в обществе и в самой литературе, полнейшее уважение и к господину Волтеру, и к женевскому философу Жан-Жаку Руссо, и к ученому Дидероту, и пр. Эти нас не разоряли, да притом же их уважала сама императрица в это время.

Но и экономическую сторону вопроса сатирики рассматривали в очень малых размерах. Конечно, в обличениях мотов среднего состояния могли скрываться намеки и на то, что делалось первоклассными и знатными богачами. Но это предположение, если оно и справедливо, не свидетельствует в пользу *силы* тогдашней сатиры. Притом же наши сатирики и вообще литераторы умели нередко и менять точку зрения на предмет, как скоро дело превосходило те размеры, которые были им по плечу. Таким образом, в некоторых описаниях пиров знатных вельмож и в рассказах о жизни их расточительность принимала название *щедрости*, а роскошь называлась *великолепием*. Для примера можно указать из

знаменитых – на Фонвизина, писавшего биографию Н. И. Панина{78}, на Державина, который воспевал пиры Потемкина{79}, забывая остроумные намеки, которые сам же делал на него в «Фелице», и пр. Между тем в этой-то воспеваемой ими *щедрости и великолепии*. и заключалась причина финансового расстройства России. Тут даже и французские парикмахеры и гувернеры были виноваты очень мало. И без них были другие побуждения и другие способы мотать неслыханные суммы. Сама Екатерина отличалась умеренностью и простотою, как свидетельствуют современные ей записки и литературные обращения к ней. Вспомним стихи Державина:

*Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом, и пр.
{80}*

Но примеру, воспетому Державиным, не подражали приближенные императрицы. О роскоши, какую они себе позволяли, остались сведения изумительные, пред которыми должно побледнеть и исчезнуть все, что изоб-

ражала сатира екатерининского века. «Тру-
тень» обличал, например, господчиков, у ко-
торых на стол выходило 14 тысяч в год. А в
«Записках» Грибовского находим, что у Пл.
Ал. Зубова, графа Н. И. Панина и у графини
Браницкой стол каждый день стоил около 400
рублей, исключая вин и прочих напитков, ко-
торых тоже выходило каждый день рублей на
200! (Грибовский, «Записки», стр. 60). Он же
рассказывает удивительные вещи о пирах Л.
А. Нарышкина, о выездах Остермана в его зо-
лоченой карете, о праздниках Безбородка.
Безбородко был весь засыпан золотом и бри-
льянтами в своем доме. Танцовщице Давии
он давал 2000 руб. золотом в месяц, а когда
она уезжала в Италию, подарил ей деньгами
и брильянтами на 500 000 руб. Потом он со-
держал Сандунову, а когда эта вышла замуж,
то взял на ее место танцовщицу Ленушку; от
этой имел он дочь, которую потом выдал за-
муж, давши ей в приданое дом в 300 000 руб.
и именье с 80 000 руб. доходу (Грибовский,
стр. 72). Откуда брались столь огромные сум-
мы? Конечно, от щедрот Екатерины: хотя из-
вестно, что Безбородко и без того был очень

богат, но его собственных средств не хватило бы на такую пышность. В пример того, какие размеры должны были иметь эти щедроты, можно указать на Н. И. Салтыкова, о котором сведения находим тоже у Грибовского. По словам его, Салтыков имел всего 6000 душ крестьян, а проживал ежегодно по 200 000 руб., да, еще в течение десяти лет умел сделать такую экономию из своих доходов, что прикупил потом еще 10 000 душ (Грибовский, стр. 62–63). Была, впрочем, у вельмож тогдашних, кроме щедрот императрицы, и другая возможность получать большие деньги. Так, в «Записках» Державина («Русская беседа», 1859, т. IV, стр. 333–337) находим изложение дела известного банкира Сутерланда, который «был со всеми вельможами в великой связи, потому что он им ссужал казенные деньги, которые принимал из государственного казначейства для перевода в чужие край, по случавшимся там министерским надобностям». Таких сумм набралось до 2 000 000, переведенных в Англию. Но вдруг министр донес оттуда, что денег там нет. Навели следствие, открылось, по книгам Сутерланда,

что деньги еще не переведены; потребовали, чтоб он перевел их немедленно, а в это время у него не случилось денег, и он объявил себя банкротом. По дальнейшим разысканиям открылось, что все деньги «забраны – Потемкиным, Безбородкою, Остерманом, Вяземским, Морковым и даже великим князем». Один Потемкин взял 800 000 руб. Это было уже после смерти его, и Екатерина, на доклад Державина, «извинив, что князь многие надобности имел по службе и нередко издерживал свои деньги, приказала принять на счет свой государственному казначейству» (стр. 337). Потемкин действительно не только сам тратил большие суммы, но и другим разрешал подобные траты. У Державина же находим мы рассказ о купце Логинове, которого Потемкин не только допустил к откупам без залогов, но еще кредитовал 400 000 рублей из комиссариатских сумм. Между тем Логинов этот, нажившись от откупа, не только не внес долга, но не платил решительно ничего и даже сам скрылся, то есть постоянно показывался в неизвестной отлучке, «и хотя всем был виден проживающим в Петербурге, однако не ссы-

кан и не представлен в Москву *около двадцати лет*» (стр. 330). В «Записках» же Державина есть любопытный рассказ о расхищении 600 000 руб. из государственного заемного банка, в чем главными виновниками оказались – главный директор банка Завадовский с кассиром Кельбергом и вторым директором Зайцевым; они «вошли между собою в толь короткую связь, что брали казенные деньги на покупку брильянтов, дабы, продав их императрице с барышом, взнести в казну забранные ими суммы и сверх того иметь себе какой-либо прибыток» («Русская беседа», IV, стр. 337).

Подобные рассказы объясняют очень удовлетворительно (по крайней мере гораздо удовлетворительнее сатирических нападок на французские моды), отчего произошло под конец царствования Екатерины такое расстройство финансов. Ясно, что приближенные Екатерины, не довольствуясь ее милостями, прибегали еще и к недозволенным ею средствам обогащения. Она часто вовсе и не знала, что делают эти вельможи; но это доверие к ним все-таки обращалось потом ей в

упрек. Даже Державин, восторженный певец ее, сказавший о ней:

*Как солнце, как луну поставлю,
На память будущим векам,
Превознесу тебя, прославлю.
Тобой бессмертен буду сам{81}, —*

и он, в заключение своих воспоминаний о ней, говорит следующее:

Коротко сказать, сия мудрая и сильная государыня ежели в суждении строгого потомства не удержит по вечность имя великой, то потому только, что не всегда держалась священной справедливости, но угождала своим окружающим, а паче своим любимцам, как бы боясь раздражить их; и потому добродетель не могла, так сказать, сквозь сей закоулок пробиться и вознестись до надлежащего величия; но если рассуждать, что она была человеком, что первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен, то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ее страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасна-

лась; ибо они ее поддерживали. Когда же привыкла к изгибам по своим прихотям с любимцами, а особливо в последние года, с князем Потемкиным, упоена была славою своих побед, то уже ни о чем другом и не думала, как только о покорении скиптру своему новых царств («Русская беседа», 1859, кн. IV, стр. 387).

Совершенно согласно с Державиным, по гораздо обстоятельнее и солиднее, отзывается об истощении России к концу царствования Екатерины граф А. Р. Воронцов, бывший при императоре Александре государственным канцлером. Недавно, в первой книжке «Чтений Московского общества истории и древностей», напечатаны чрезвычайно любопытные его «Примечания на некоторые статьи, касающиеся до России». Примечания эти написаны были в 1801 году и представлены императору Александру. Начинаются они, разумеется, с того, что «благополучное состояние, которым все россияне ныне пользуются, не оставляет ничего более желать, как только непоколебимости оного» («Чтения Московского общества истории», 1859, кн. I, см. стр. 91). Но за-

тем он приводит свои мысли о внутреннем состоянии России и, между прочим, замечает: «Можно сказать, к сожалению, что Россия никогда прямо устроена не была, хотя еще с царствования Петра Великого о сем весьма помышляемо было». Очертивши вкратце действия преемников Петра и дойдя до времени Екатерины, Воронцов говорит:

О революции, коею возведена была императрица Екатерина Вторая на престол российский, нет нужды распространяться, понеже все сии обстоятельства еще в свежей памяти; но того умолчать нельзя, что самый сей образ вступления на престол заключал в себе многие неудобности, кои имели влияние и на все ее царствование. Оно было, конечно, с большим блеском, особливо по внешним делам; большие приобретения сделаны, служащие и к безопасности России и к лучшему составлению всей массы. Но нельзя не признать, чтоб сердце России почти ежегодными рекрутскими наборами не было истощено; к тому прибавились налоги, прежде еще зрелости своей, чтоб Россия могла оные без изнуре-

ния выносить... («Чтения Московского общества истории», 1859, кн. I, см. стр. 95).

Далее (на стр. 96) Воронцов говорит, что к концу царствования Екатерины «роскошь, послабление всем злоупотреблениям, жадность к обогащению и награждения участвующих во всех сих злоупотреблениях довели до того, что люди едва ли уже не желали в 1796 году скорой перемены, которая, по естественной кончине сей государыни, и последовала». В особенности Воронцов обвиняет Потемкина. Говоря о военной части, он замечает, что «воинские учреждения, сделанные комиссиею, на то определенною при вступлении на престол императрицы Екатерины II, имели много основательного и полезного, да и на правила хозяйства основаны были»; затем продолжает: «Страшные злоупотребления и расточения, вкравшиеся по сей части и кои начало свое взяли и далее простирались от 1775 года, отнюдь не от самых учреждений произошли, а от необузданности временщиков». Далее Воронцов замечает, что злоупотребления эти «сделались об-

щими и не по одной военной, но по всем частям государства распространялись» (стр. 99), и при этом делает следующее примечание, очень характеристическое:

Прямою эпохою водворения сих злоупотреблений почитать должно самовластие и властолюбие покойного князя Потемкина; а на него глядя и видя, что не только нет взыскания и отчета на обогащение людей, но и к почестям и к вознаграждениям, было лучшею дорогою, редкой, по части ему введенной, не находил для себя выгодным по тем же следам идти; ибо не всякий имеет в себе столько твердости души, чтобы худым примерам не последовать, особливо когда они многие приятности в жизни доставляют (стр. 100).

Эта заметка чрезвычайно важна в том отношении, что показывает нам существенную сторону вреда, который производится для государства расточительностью временщиков. Они сами, положим, и не много растратят; но важно уже то, что они истратили хоть один лишний рубль, принадлежащий не им, а госу-

дарству. Как скоро это сделано хоть одним человеком, каковы бы ни были его заслуги, чин и положение, – зараза неминуемо распространяется дальше. Как скоро раз произошло нарушение законности, – нет причины не повториться ему и в другой раз. Общественное благо вообще и общественная или государственная казна в частности – может быть с усердием охраняема каждым членом общества только до тех пор, пока он знает, что это благо, эти права, это имущество – неприкосновенны для насилия, недоступны для произвола; тут есть часть каждого, и на желании полного обеспечения этой части со стороны общества основывается и стремление каждого поддерживать общее благо. Но какая же мне охота заботиться об общем благе, когда я вижу, что мое собственное достояние не обеспечено, мои права не ограждены? И вот отсюда-то происходит эгоистический образ действий, который выражается, с одной стороны, во взяточничестве, казнокрадстве, обмане и барышничестве всякого рода, а с другой – в совершенной беспечности и небрежности в исполнении своих обязанностей.

О том, до какой степени доходило у нас в девяностых годах общее расстройство управления по всем частям, всего лучше рассказывает князь Щербатов в своем «Рассуждении о нынешнем в 1787 году почти повсеместном голоде в России», в «Размышлении о ущербе торговли, происходящем выхождением великого числа купцов в дворяне и офицеры» и в сочинении «О состоянии России в рассуждении денег и хлеба в начале 1788 года, при начале турецкой войны». Эти сочинения вполне не напечатаны; но в «Московских ведомостях» нынешнего года, в июне и июле (№№ 142, 143, 154, 172, 177), помещены были довольно обстоятельные извлечения из них, сделанные г. М. Щепкиным. Мы воспользуемся некоторыми из напечатанных там сведений и приведем некоторые суждения Щербатова, вполне подтверждающие то, что мы до сих пор говорили о причинах тогдашнего финансового расстройства.

Изыскивая эти причины, Щербатов говорит, между прочим:

У нас войны с 1774 года не было, а и война была самая успешная, области

наши не разорены, доходы государственных разработанием рудников, умножением винной продажи, приобщением к коронным доходам монастырских деревень и положением на них по три рубли с души, умножением торговли, положением в оклад денежный Малороссии и Лифляндии, населением Новой России, приобретением Белороссии, учинением новой ревизии и прочими способами знатно умножились. А, однако, от безденежья и от недостатка кредита российский народ более страждет, нежели другие страны и после всенародных несчастий страдали. Отчего же сие происходит?

Это объясняется, во-первых, по выражению Щербатова, *сластолюбием*, вследствие которого произошел упадок земледелия и бедность народа, и потом ошибочными банковыми операциями.

Перечисляя огромные затраты денег, произведенные правительством с самого вступления на престол Екатерины, Щербатов указывает на большие суммы, перешедшие в Пруссию и Польшу, когда там были наши

войска, и затраченные в Польше для возведения на престол Станислава Понятовского, против воли поляков и литовцев. К этим издержкам присоединилась и придворная роскошь, которая, несмотря на старания Екатерины соблюдать умеренность, увеличилась при дворе ее, сравнительно с двором Елизаветы Петровны. Большие выдачи денег придворным с самого начала затрудняли государственное казначейство; но отказывать было невозможно.

Известно, – говорит Щербатов, – что восшествие на престол императрицы Екатерины последовало по возмущении; учинивших сие возмущение надлежало наградить; даны им были – единым деревни, другим деньги, а всем чины придворные («Московские ведомости», № 154).

Деньги эти, разумеется, проедались и проматывались на разные блестящие, но бесполезные затеи, большею частью заграничные. А относительно земель вот что говорит Щербатов:

Розданы они вельможам, которые,

быв обогашены и без того милостями государя, малое прилежание о населении и обработывании их прилагают. А и проданные суть по большей части людям богатым, захватившим многие тысячи десятин и употребляющим их для скотоводства, и не помышляя довольно их населить и запахать. И тако впадает в правило народа скотоводителя, которому не в пример более земли надобно, чем хлебопашу («Московские ведомости», № 142).

Вследствие такого положения дел, неудобство которого увеличивалось ненормальными отношениями крестьян к помещикам, — сельское хозяйство шло плохо. А между тем постоянно был большой отпуск хлеба за границу. Да еще это бы ничего само по себе; но беда была в способе, которым эта операция производилась. Дело в том, что плодородные губернии были отдалены от места заграничного отпуска хлеба, а пути сообщения были в самом жалком состоянии. На улучшение дорог издавна был установлен особый сбор, и деньги постоянно собирались, но девались

неизвестно куда, а дороги не поправлялись вовсе; мосты были так худы, что по многим совершенно не было проезда. Когда же в 1781 году последовал указ об исправлении дорог и мостов, оказалось, что собранные на этот предмет деньги так ничтожны, что с ними ни за что и приняться нельзя («Московские ведомости, № 172»). Поэтому земледельцы не могли прямо участвовать в заграничной операции, и вся она попала в руки посредников-торговцев, которые одни обогащались, давая вперед задатки крестьянам и покупая у них по сравнительно низким ценам весь хлебный товар. К этому надо еще присоединить и то, что количество вывозимого хлеба вовсе не соотношалось с потребностями самого народа в России. В пример безрассудства, господствовавшего в этом деле, Щербатов приводит следующий факт:

По именному указу, губернатору Архангельского порта Головцыну дозволено было выпускать до 200 000 четвертей хлеба, но с тем, чтобы он вошел предварительно в сношение с казанским губернатором и если только

тот уведомят его, что в его губернии есть излишний хлеб. Но этот указ во- все не исполнялся. В самый 1774 год, когда после разорения Казанской губер- нии Пугачевым народ с голоду умирал и поля были не засеяны, выпущено бы- ло из северного порта не только 200 000 четвертей, но и гораздо более («Московские ведомости», № 143).

В число причин, парализовавших успе- хи земледелия и вследствие того самое благо- состояние народа, Щербатов приводит ново- введенные тогда откупа и также новое поло- жение об экономических крестьянах, ото- бранных от монастырей. Откупа увеличили сидку и гонку вина, на которое употреблялось тогда до 600 000 четвертей, и Щербатов пред- лагает даже в своем рассуждении – умень- шить эту пропорцию наполовину, рассчиты- вая, что оставшимся от того количеством хле- ба может питаться до полумилльона народа в течение десяти месяцев. Относительно быв- ших монастырских крестьян Щербатов сооб- щает следующее. Когда их приписали к кол- легии экономии, то оброк, положенный на них по 3 рубля на душу, был сравнительно

очень высок, и вследствие того многие крестьяне покинули поля и обратились к другим, более прибыльным занятиям, так что большая часть земель вокруг монастырей запустела. Между тем местное начальство постоянно уверяло правительство, что хозяйство в этих вотчинах находится в наилучшем положении. Через 4 года, в 1767 году, возникли какие-то темные подозрения, и коллегии экономии велено было собрать точные ведомости, сколько в предыдущие годы посеяно было хлеба на бывших монастырских землях. Отовсюду были донесения самые благоприятные: оказалось, что в последние годы посев даже увеличился против прежнего благодаря стараниям нового управления. Для поверки этих сведений отправлен Г. Н. Теплов и, разумеется, нашел, что в донесениях была самая наглая ложь. Результаты своей поездки представил он коллегии экономии и самой Екатерине. Но дело оставлено без всяких последствий, и не только не было обращено никакого внимания на земледелие, но и самые казначеи за ложные свои донесения не были подвергнуты никакому наказанию.

А следствие сему, – прибавляет Щербатов, – и вышло такое, какого надлежало ожидать; ибо в 1760 году рожь в Московской губернии в Гжатской пристани была по 86 коп. четверть, в 1763 году поднялась до 95 кои., а потом, час от часу подымаясь ценою, уже в 1773 году вошла в 2 руб. 19 коп., а ныне уже и до семи рублей дошла, без надежды, чтоб и могла унизиться. Равно сему и во всех других городах, как можно сие усмотреть из ведомостей провиантской канцелярии. По всем сим вышеозначенным обстоятельствам удивительно ли, что цена хлеба час от часу возвышалась и при бывших худых урожаях в двух прошедших 1785 и 1786 годах не токмо до чрезвычайности дошла, но даже и сыскать хлеба на пропитание людей негде, и люди едят лист, сено и мох, и с голоду помирают, и вызябший весь ржаной хлеб в нынешнюю с 1786 по 1787 год зиму в плодоснейших губерниях не оставляет и надежды, чем бы обсеменить к будущему году землю, и вящим голодом народу угрожает («Московские ведомости», № 143).

Не надо, впрочем, думать, чтобы бедствие было повсеместное: в южных краях его не было, и в это самое время, к которому относятся слова Щербатова, зимою и весною 1787 года, Екатерина совершила знаменитое свое путешествие в Тавриду, своим великолепием изумившее иностранных послов, сопровождавших императрицу. В этом путешествии Георгий Конисский сказал ей знаменитую свою речь:

Оставим астрономам доказывать, что земля вокруг солнца обращается; наше солнце вокруг нас ходит, и ходит для того, да мы в благополучии почи-ваем.

В этом путешествии приняла она поклонение императора Иосифа, которому внушала благоговение к себе своею мудростию и великолепием. Об этом путешествии с умилением рассказывает восторженный историк Екатерины.

Ее появления, – говорит он, – походили на радостные, посменные торжества: толпы народа окружали карету, воины в строю встречали, дворяне, прочие

сословия наперерыв учреждали угощения; везде арки, лавровые венки,obelisks, освящения; везде пиршества, прославления, милость и удовольствия... Принц де Линь пишет отсюда так: каждый день знаменовался раздачею брильянтов, балами, фейерверками и иллюминациями верст на десять в окружности. Сначала появились леса на горах в огне, потом мелкие кустарники осветились, по приближении же нашем все пылало! (см. «Черты Екатерины Великой», собранные Пав. Сумароковым, стр. 203, 221){82}.

Полгода продолжалось это путешествие; только в июне возвратилась императрица в Москву.

Но здесь ожидало ее другое зрелище, которое, впрочем, постарались удалить от ее взоров. Вследствие голода московские улицы наполнились толпами нищих, больных, голодных, оборванных. Местное начальство, боясь навлечь на себя гнев императрицы, позаботилось пред ее приездом выслать их всех из города, «дабы не беспокоить ее видением такого числа нищих» («Московские ведомости»,

№ 172). Против этого распоряжения сильно восстает Щербатов в своем сочинении, и не мудрено: он вообще в рассуждениях о народе выказывает много гуманности, и притом он близко видел все действия голода. Вот, например, как изображает он бедствия голода 1787 года во вступлении к сочинению «О состоянии России в рассуждении денег и хлеба». Вступление это приведено г. Щепкиным в № 154 «Московских ведомостей».

Московская, Калужская, Тульская, Рязанская, Белогородская, Тамбовская губернии и вся Малороссия претерпевают непомерный голод, едят солому, мякину, листья, сено, лебеду, но и сего уже недостает, ибо, к несчастью, и лебеда не родилась, и оной четверть по четыре рубля покупают. Когда мне из Алексинской моей деревни привезли хлеб, испеченный из толченого сена, два из мякины и три из лебеды, он в ужас меня привел, ибо едва на четверть тут четвертка овсяной муки положена. Но как я некоторым и сей показал, мне сказали, что еще сей хорош, а есть гораздо хуже. А, однако, никакого распоряжения дальше, то

есть до исхода февраля месяца, не сделано о прокормлении бедного народа – для прокормления того народа, который сочиняет силу империи, которого в самое сие время родственники и свойственники идут сражаться со врагами, которые в степях, в холоде, в нужде и в сырых землянках без ропота умирают, который дает доходы не токмо на нужды государственные, но и на самый роскош. Ниже для всего сего, а паче ради человеколюбия, ниже малое количество курки вина уменьшено, и не токмо чтобы убавить каких с них податей, но и самые способы отнимают, чтобы работою своею приобретши себе деньги, хотя несколько жизнь свою продлить... Отдаленный стон народный не бывает внушаем среди роскошей столичных городов. Но здесь и сей отговорки быть не может. Толпы нищих наполняют перекрестки, жалобным своим воплем останавливают проезжающие кареты, содрогшие от голода младенцы, среди холода и вьюги, единое чувство глада имеют, безвинные руки протягают, исчисляють число времени их по-

щения и милостыни просят, которой еще и не получают довольно; ибо частные люди всех прокормить не могут и случайная милостыня не иное что может произвести, как умножить число нищих, а правительство глухо и слепо и нечувствительно на сие является. То если глаголов моих поверит потомство, что скажет оно о нашем веке?

Видно, что Щербатов был очень сильно взволнован зрелищем народного бедствия и в своей горячности забыл о том, что в это время, как справедливо замечает г. Щепкин, «правительство императрицы Екатерины, жадно следя за победоносным шагом армии, не имело времени вглядываться в народные нужды, прислушиваться к воплю оголодавшей толпы и тем менее заботиться о врачевании язв, нанесенных голодом народному организму» («Московские ведомости», № 154).

Однако же народное бедствие должно было неминуемо отразиться и на течении правительственных дел. Финансовый кризис, издавна подготовленный указанными выше обстоятельствами, теперь подошел очень близко. Народ, находясь в таком положении, не

мог, разумеется, сполна отбивать всех своих податей и повинностей; а другой важный источник доходов – промышленность и заграничная торговля – в то время еще был слишком незначителен, да и тут не обходилось без больших злоупотреблений. Державин рассказывает, что в 1794 году по балансу, представленному от коммерц-коллегии, вывоз значился более ввоза на 31 мильон, а курс был не выше 22 штиверов, или 44 копеек. Когда Державин исследовал это странное явление, оказалось, «что при упадке курса превосходный баланс не что иное есть, как плутовство иностранных купцов с сообществом наших таможенных служителей, и бывает именно оттого, что выпускные наши товары объявляются настоящею ценою и узаконенные пошлины в казну с той цены берутся, а иностранные объявляют иногда цену ниже 10 процентами, следовательно, более десяти частей уменьшают баланс в товарах и более 10 процентов крадут пошлин» («Русская беседа», IV, стр. 366).

Ясно, что при таком порядке расстройство дел было неизбежно. Но зло еще увеличива-

лось тем, что никто ничего не знал и знать не хотел о том, что делалось.

Россия, – говорит по этому поводу Щербатов, – не яко другие страны, где правительство тщится обнаружить свои операции перед народом; но о самых вещах, касающихся непосредственно народа, в совершенной тайне сие содержит. Что я говорю о народе? Самые таковые дела главному правительству неизвестны, и знает токмо их тот, кому они препоручены. А посему правительство такой поверенной особе сопротивляться не может, самые операции его зависят от хотения того; народ пребывает в неведении и в неудовольствии, иногда и понапрасну; желающие научиться способа не имеют; размышления остановлены, ошибки или злоупотребления неисправляемы остаются, и ошибку ошибкою и зло злом, якобы для поправления, умножают («Московские ведомости», № 154).

В самом деле, обстоятельства наконец до того запутались, что сама Екатерина не хотела их выслушивать спокойно. Державин рас-

сказывает, что после открытой им штуки с торговым балансом, «вместо оказательства какого-либо ему благоволения, хладнокровно о том замолчали. После вышла еще неприятность. Сказывают, что будто таковая правда была императрице неприятною, что в ее правлении и при ее учреждении могла она случиться, или, лучше сказать, обнаружиться. Вот каково самолюбие в властителях мира! И вред не вред, и польза не польза, когда только им не благоугодны!» («Русская беседа», IV, стр. 366). Впрочем, само правительство, учреждая ревизион-коллегию, созналось, что «доселе счету никогда не бывало: а оттого происходит, что и по сие время нет совершенно известия о приходе и расходе и остатках».

Для поправления финансовых затруднений в 1768 году учрежден Екатериною ассигнационный банк. По, по словам Щербатова, «коренные пороки, случаи, незнание, желание выслужиться и нерассмотрение, которые повсегда Российскую империю отягощают, и на сие благое учреждение яд свой разлили». Именно, Щербатов находит, что, во-первых,

директору банка предоставлена слишком большая власть, «какова есть непристойна во всяком благоучрежденном правлении»; оттого всегда и возможны были случаи вроде того, который Державин рассказывает о Завадовском и Кельберге. «Во-вторых, – говорит Щербатов, – не посмотри на карту, ниже вошед в обстоятельство тихости обращения монеты в Российской империи, по причине ее пространства и малой внутренней торговли, положили сумму в банк едва половину в сравнении с суммой наделанных ассигнаций, хотя чрез сие выслужиться, что якобы умножена монета» («Московские ведомости», № 154). Но *половина* была еще совершенно достаточна. В первые годы по выпуске ассигнаций бумажный рубль ходил 98 и 99 копеек, а с 1774 года, когда издан был указ, чтобы не обращалось в империи более 20 миллионов бумажных денег, держался даже *al pari* [4] с серебряным рублем. Но когда в 1786 году выпущено было еще на 100 миллионов ассигнаций, с учреждением государственного заемного банка, бумажный рубль в первый же год упал до 92 копеек и затем быстро понижался. Вме-

сте с тем падал и наш заграничный курс. В 1789 году бумажный рубль ходил еще по 90 копеек, а во внешней торговле, по свидетельству Щербатова, наш рубль серебряный стоил уже 36 штиверов, то есть 72 копейки, «а прибавя к тому еще 10 копеек промену, учинит, что рубль 10 копеек стоит 36 штиверов», то есть что на заграничных товарах мы постоянно теряли 38 %. А между тем выпуск ассигнаций продолжался; в последние шесть лет царствования Екатерины выпущено их еще на 57 миллионов, и вследствие того бумажный рубль, стоивший в 1790 году 89 коп., в 1792 году стоил уже 79, в 1794–71, а в 1795–68, между тем как серебряный рубль поднялся во внутреннем обращении до 146 коп. В 1788 году уже почувствовался недостаток даже в медной монете, «вдруг начали деньги оскудевать в Москве и в других городах, пошли менять, там учинили затруднения, якобы не довольно было счетчиков; не получившие пошли без медных денег, другим рассказали, и кредит банка государственного и монарша слова (Екатерина дала «торжественное монаршее слово, что каждая ассигнация должна почи-

таться за наличные деньги и верно будет заплачена») пропал». Затруднения при размене ассигнаций достигли до того, что банк прекратил уплаты и, «прибегнув даже к самым насильственным мерам», запер ворота и поставил к ним караул, чтобы никого на двор не пускать. Вследствие этого размен денег стоил огромных процентов: в некоторых городах доходил до 15, даже до 20 копеек на рубль.

То довольно видно каждому, – заключает Щербатов, – коль есть сие чувствительное разорение всему народу, когда принуждены двадцатую, десятую или и больше частей за промен таких денег терять, которые монаршим словом утверждены быть равные медной монете, которые знаки яко вексели от правительства ходят и которые торжественным монаршим словом пред народом утверждены («Московские ведомости», № 154).

Император Павел, вступивши на престол, старался исправить дело изданием строгого банкротского устава и возвышением всех налогов, как-то: подушных, гильдейских повинностей, гербовых пошлин и пр. (см. Устрялова

«Учебник»).

Таковы были результаты того направления русской жизни, которое обличала сатира семидесятых годов под именем мотовства, роскоши и пристрастия к французским модам. Вероятно, в частной жизни многих лиц ее обличения имели успех, потому что когда бедствия голода и всеобщей дороговизны стали чувствительны и среднему классу, когда рубль стал ходить 68 коп., то, конечно, многие стали поневоле умереннее в своих издержках. Но в общем ходе дел, в развитии богатства страны и общественного кредита, что произвели все эти выходки против частной расточительности и против ростовщиков, берущих неуказные проценты?

Говорить ли нам еще об одной стороне екатерининской сатиры, о борьбе ее со взяточничеством и крючкотворством? Это был конек ее, тут она показывала себя смелее, чем где-нибудь, и оказывалась решительно достойною последовательницею манифеста Екатерины о лихоимстве, который мы приводили выше. Но мы боимся распространяться об этом предмете: он так уже надоел всем чи-

тателям со времени «Губернских очерков» {83}. Желая наслаждаться чтением выходов наших сатириков против взяток не только мелких чиновников, но и воевод, могут обратиться к книжке г. Афанасьева, который посвятил специальному восхищению этим предметом целых 27 страниц (220–246). Мы же заметим здесь только о том, что и в вопросе бюрократическом сатира не нападала на общее устройство администрации, хотя она действовала уже накануне нового «Учреждения о губерниях», которым откровенно и решительно признана была совершенная негодность прежнего воеводского управления (1775 год, ноября 1). Сатира была в восторге от учреждения прокуроров и надеялась от них великого блага для земли русской, да и вообще находила, что «теперь уж десятой доли нет, против прежнего, выгод для подьячих, хотя еще можно и теперь нажать на службе деревеньку» («Трутень», 1769, стр. 12). Можно вообразить, в какой бы восторг пришла бы сатира, если бы ее процветание продолжалось до «Учреждения о губерниях»! Вероятно, счастливее русской администрации она бы

уж ничего не нашла в целом мире и, конечно, стала бы еще яростней обличать тех, кто приличился бы в каких-нибудь грешках даже и после этого учреждения. Но вот суждение о нем гр. А. Р. Воронцова, о котором мы уже говорили выше («Чтения Московского общества истории», 1859, кн. I, стр. 95–96):

В царствование императрицы Екатерины Второй начавшаяся уже еще при Елисавете Первой роскошь и все следствия оной, далее и далее простираясь, возрастала; узаконения Петра Первого более и более в ослабление приходили, так что в среде своего царствования, после разных неудачных опытов (как-то: собрание депутатов для сочинения новых узаконений), вместо того чтоб поправить то, что из узаконений Петра Великого в ослабление пришло, решилась она внутреннему управлению дать некоторым образом новую форму, издав «Учреждение для укрепления губерний». Нельзя не признать, чтоб оно не шло (хотя несколько и излишних судов надделано было) на внутренние российские губернии, где многого недоставало; но едва ли была нужда

распространять оное на присоединенные и завоеванные нами провинции, кои имели у себя более устройства, нежели внутри России, или на азиатские, коим, по пространству земель их и по образу жизни и нравов тамошних жителей, таковое управление несвойственно и неудобно. Но сие «Учреждение о губерниях», хотя и не без пользы было, стало уже весьма ослабевать в последние годы самой учредительницы оного. Непомерная роскошь, послабление всем злоупотреблениям, жадность к обогащению и награждения участвующих во всех сих злоупотреблениях довели до того, что и самое «Учреждение о губерниях» считалось почти в тягость, да и люди едва ль уже не желали в 1796 году скорой перемены, которая, по естественной кончине сей государыни, и воспоследовала.

Вообще, несмотря на усилия сатиры, даже специальный ее вопрос о чиновничьих злоупотреблениях как-то плохо подвигался к разрешению. Бессилие свое в этом деле сознавала, впрочем, и сама сатира. В «Живописце» помещено письмо к нему от некоторого поме-

щика, бывшего чиновника, Ермолая, из сельца Краденова. В письме этом взяточник издевается над бессилием сатириков и делает заметки очень основательные. Без сомнения, письмо это писано в редакции журнала, и в нем выразилась, вместе с долею некоторого самодовольства, и досада писателя на свое положение в деле обличений. Вот как рассуждает отрешенный от дел (нельзя же иначе!) взяточник («Живописец», I, стр. 106):

Ты, забыв законы духовные, воинские и гражданские, осмелился назвать меня якобы вором. Чем ты это докажешь? Я хотя и отрешен от дел, однако же не за воровство, а за взятки; а взятки не что иное, как акциденция. Вор тот, который грабит на проезжей дороге, а я бираю взятки у себя в доме, а дела вершил в судебном месте: кто себе добра не захочет? А к тому же я никого до смерти не убил; правда, согрешил перед государем: многих пустил по миру; да это дело постороннее, и тебе до него нужды нет. Как перед богом не согрешить? Как царя не обмануть, как у него не украсть? Грешно украсть из кармана у своего брата, а это дело

особое: у кого же и украсть, как не у царя; благодаря бога дом у него как полная чаша, то хотя и украдешь, так не убудет. Глупый человек! да это и указами за воровство не почитается, а называется похищением казенного интереса. А похищение и воровство не одно: первое – не что иное, как только утайка; а другое – преступление против законов и достойно кнута и виселицы. Правда, бывали и такие примеры, что и за утайку секали кнутом; это случалось; но ныне благодаря бога люди стали рассудительнее, и за реченную утайку кнутом секут только тех, которые малое число утаят: да это и дельно; не заводи дела из безделицы. Видишь ли ты, глупый человек, что ты умничаешь по-пустому. Кто тебя послушается? Я помню, как один господин в бытность мою у него рассуждал о тебе так: он-де делает бесчестье всем дворянам, пиша эдакие письма; что-де подумают иностранные об нас, когда увидят, что у нас есть дураки, плуты....
. Понимаешь ли ты, что и верить этому не хотят, что есть бессовест-

ные судьи, бесчеловечные помещики, безрассудные отцы, бесчестные соседи и грабители управители. Что ты из пустого в порожнее пересыпаешь? Мне кажется, брат, что ты похож на постельную жены моей собачку, которая брешет на всех и никого не кусает, а это называется брехать на ветер. По-нашему, коли брехнуть, так уж и укусить, да и так укусить, чтоб больно да и больно было. Да на это есть другие собаки, а постельным хотя и дана воля брехать на всех, только никто их не боится. Так-то и ты пишешь все пустое: кто тебя послушается или кто испугается, когда не слушаются и не боятся законов, определяющих казнь за преступление?

Рассуждения отрешенного взяточника имеют значительную долю справедливости. Для подтверждения этого вспомним, как в течение двух столетий у нас преследовалось зло взяток, как против них восставали люди государственные в докладных записках и проектах, как они запрещались указами, как их обличала литература. Ради курьеза приведем, пожалуй, ряд свидетельств о взятках из раз-

ных периодов русской литературы и общественного развития.

1666 год. Кошихин, стр. 93.

А кто будет судья, возьмет посул и дело учнет писать по посулам и про то сыщется, и о таких судьях и наказании подлинно писано в Уложенной книге. Однако ж, хотя на такое дело положено наказание, и чинят о тех посулах крестное целование с жестоким проклинательством, что посулов не имати и делати в правду, по царскому указу и по Уложению: ни во что их вера и заклинательство, и наказания не страшатся, от прелести очей своих и мысли содержать не могут и руки свои ко взятию скоро допускают, хотя не сами собою, однако по задней лестнице чрез жену, или дочь, или чрез сына и брата, и человека, и не ставят того себе во взятые посулы, будто про то и не ведают. Однако чрез такую их прелесть приходит душа их, злоиманием, в пучину огня негасимого, и не токмо вреждают своими душами, но и царскою, взяв посулы, облыгают дру-

гих людей злыми словами, и не стыдятся того делати потому: кто может всегда приходить к царю и видеть часто от простых людей? но и сами они судии видають временем и редко когда прилучат говорити с ним о делех{84}.

1729 год. Кантемир, сатира 1 (стр. 11, изд. 1762 г).

*Хочешь ли судьбою стать, – вздень
парик с узлами,
Брани того, кто просит с пустыми
руками,
Твердо сердце бедных пусть слезы
презирает.
Спи на стуле, когда дьяк выпуску
читает.
Если ж кто вспомнит тебе граждански
уставы,
Иль естественный закон, иль на-
родны нравы, —
Плюнь ему в рожу, скажи, что
врет околесну,
Налагая на судей ту тягость
непосну.*

1762 год. Манифест императрицы Екатери-

НЫ О ЛИХОИМСТВЕ СМ. ВЫШЕ, СТР. <559–561>).

1769 год. «Трутень», стр. 14.

У нас в приказных делах какие науки? Кто прав, так и без наук прав, лишь бы только была у него догадка, как приняться за дело; а судейская наука вся в том и состоит, чтобы уметь искусненько пригибать указы по своему желанию, – в чем и секретари нам много помогают.

«Всякая всячина», стр. 307–308.

Колико трудно найти средство к поправлению сих людей! Вспомните всеобщий крик о взятках, когда подьячие не получали жалованья, но велено им было кормиться с дел; и не в нашем ли веке сие все было? Ныне же им дано жалованье, – и жалоба происходит, что ленятся для того, что корм имеют... Иной скажет: зачем лихоимцу давать? Отвечаю: без того дела продолжают и пакостят, а чрез волокиту и неправое решение челобитчики вконец разоряются, – да не только спорными делами, но и неспорными и

подлежащими межеванию.

1796 год. Капнист. Посвящение «Ябеды».

*Монарх! Прияв венец, ты правду
на престоле
С собою воцарил...
Я кистью Талии порок изобразил;
Мздоимства, ябеды всю гнус-
ность обнажил
И отдаю теперь на посмеянье све-
та.
Не мстительна от них страшуся
я навета. —
Под Павловым щитом почию
невредим;
Но, быв по мере сил споспешни-
ком твоим,
Сей слабый труд тебе я посвя-
тить дерзаю,
Да именем твоим успех его вен-
чаю.*

1801 год. Указ императора Александра I
правительствующему сенату, от 18 ноября (П.
С. 3., № 20516).

Из доходящих к нам беспрестанно слу-

хов, с сердечным соболезованием заключаем, что пагубное лихоимство или взятки в империи нашей не только существуют, но и распространяются между теми самыми, которые бы гнушаться ими и всемерно пресекать их должны. Правительствующий сенат ведает, какие может зло сие производить беспорядки во всех частях правления, и пр.

1821 год. Адмирал Мордвинов, «В мнении о росписи государственных доходов и расходов на 1821 год» («Чтения Московского общества истории», 1859, кн. I, стр. 3–4).

Жалуются на повсеместное в судах лихоимство; но можно ли почитать его (странным?) там, где существует житейский недостаток, и может ли преступление быть в том, что естественным правом оправдано быть должно и чего гражданские законы воспретить не в состоянии? Ибо и служителям правосудия, равно как всякому другому человеку, пристанище, пища и одежда необходимо потребны, а получаемые ими от казны оклады жа-

лованья недостаточны к доставлению оных, следственно, что невозможно, того и ожидать не должно. Доколе правосудие в России не будет достаточно вознаграждено удовлетворением всех необходимых нужд исполнителей оного, то правда не воссядет на суде; ибо правду не можно водворить там, где скудость обитает. Она несовместна с нищетою, коей первое действие – охлаждение сердца и ослабление умственных способностей.

Продолжать ли дальше? Да чего продолжать? Стоит только сказать: в 1835 году явился «Ревизор», в 1856 – «Губернские очерки», – с бесчисленною свитою...

Вот результаты вековых усилий сатиры по вопросу о взятках!..

Представим теперь, в заключение нашей статьи, общий итог всего, что делала сатира в век Екатерины и как ее дело отражалось в жизни русского общества.

Она кричала о свободе слова и мысли, по поводу уничтожения тайной канцелярии в 1762 году и затем открытия вольных типогра-

фий в 1782 году. К концу царствования Екатерины тайная канцелярия восстановлена под именем «тайной экспедиции», в 1796 году вольные типографии уничтожены.

Она сказала свое слово против пыток и вообще старалась о распространении гуманных идей и о смягчении нравов. При восшествии на престол императора Александра – не только существовала еще пытка, формально уничтоженная потом его указом от 27 сентября 1801 года (П. С. З., № 20022), но по городам, при публичных местах, стояли виселицы, «вновь поставленные в 1799–1800 годах, для прибития к ним имен разных чиновников»; виселицы эти уничтожены также в 1801 году, по указу 8 апреля (П. С. З., № 19824).

Сатира обличала дурных помещиков и старалась защищать человеческие права крестьян. С 1762 года идет ряд указов о повинности крестьян помещикам. В 1783 году утверждается крепостное право в Малороссии. До воцарения императора Александра сотни тысяч крестьян раздаются во владение частных лиц. В 1857 году поднимается вопрос об освобождении крестьян.

Сатира в семидесятых годах нападала на суеверие, невежество и дурное воспитание, на гувернеров-французов, на отсутствие истинных начал образования. В 1784 году, по освидетельствованию частных пансионатов в Петербурге, оказалось, что во всех их 72 учителя, из которых только 20 русских, и из всего числа половина – учителя танцев и рисования («Янкович ди Мириево» Воронова). После 1786 года не открывались, несмотря на указ, народные училища, потому что негде было взять учителей и средств для учебных пособий и содержания училищ. В начале нынешнего столетия нашлось много дворян – кандидатов в офицеры, не умеющих грамоте... Против слепого поклонения французам ратовал еще Грибоедов, уже гораздо после того, как мы брали Париж.

Сатира писала обличения против роскоши и мотовства. В 1768 году учрежден ассигнационный банк, в 1786 году выпущено вдруг на 100 миллионов ассигнаций. Потемкин и другие вельможи забирали из казны деньги целыми миллионами и сотнями тысяч бросали на танцовщиц и на брильянты. Во внешней торгов-

ле, и без того слабой, господствовали беспорядки; звонкая монета исчезла. Бумажный рубль стоил 68 копеек; заграничный курс дошел до 44.

Сатирические журналы иногда поражали тех, кто не заботился об общем благе, кто разоряет народ. В это самое время вводились откупа, народ истощался рекрутскими наборами, бросал свои земли, не в состояний будучи платить за них слишком высокие подати, страдал от неурожая и дороговизны, бродил без работы, помирал с голоду целыми тысячами.

Сатира очень зло восставала против лихоимства и неправосудия. В конце прошлого столетия пороки эти если не усилились, то стояли на той же степени процветания, как и пред началом царствования Екатерины.

Пусть историки литературы восхищаются бойкостью, остроумием и благородством сатирических журналов и вообще сатиры екатерининского времени; но пусть же не оставляют они без внимания и жизненных явлений, указанных нами. Пусть они скажут нам, отчего этот разлад, отчего у нас это бессилие,

эта бесплодность литературы? Неужели они не найдут другого, более обстоятельного и практического объяснения, кроме пошлой сентенции, приводимой г. Афанасьевым, – что «предрассудки живучи»?{85}

Нет, лучше, кажется, для объяснения этой печальной бесплодности припомнить письмо к «Живописцу», приведенное нами несколько выше... Или, еще лучше, – обратить внимание на слова указа императора Александра об уничтожении тайной экспедиции, объясняющие вред личного произвола и необходимость гласности и законности, общей для всех. Мы упраздняем тайную экспедицию, говорит указ, потому, что «хотя она действовала со всевозможным умерением и правилася личною мудростью и собственным государыни всех дел рассмотрением, но впоследствии времени *открылося, что личные правила, по самому существу своему перемене подлежащие, не могли положить надежного оплота злоупотреблениям, и потребна была сила закона, чтобы присвоить положениям сим надлежащую непоколебимость*», и притом вообще в «благоустроенном государстве все пре-

ступления должны быть объемлемы, судимы и наказываемы *общую силою закона*» (П. С. З., № 19813).

Ссылкою на эти слова мы и заключим нашу статью, пожалевши еще раз, что сатира екатерининского века не находила возможности развивать свои обличения из этих простых положений – о вреде личного произвола и о необходимости для благ общества «общей силы закона», которую бы всякий равно мог пользоваться.

Примечания

Условные сокращения

Все ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

БДЧ – «Библиотека для чтения»

ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.

Изд. 1862 г. – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.

ЛН – «Литературное наследство»

Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).

ОЗ – «Отечественные записки»

РБ – «Русская беседа»

РВ – «Русский вестник»

Совр. – «Современник»

Чернышевский – Чернышевский Н. Г.
Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Впервые – *Совр.*, 1859, № 10, отд. III, с. 267–356, без подписи, под заглавием «Русская сатира в век Екатерины», с цензурными изъятиями. Вошло в изд. 1862 г. с восстановлением цензурных купюр. В Собр. соч. в 9-ти т., т. V (1962) исправлены ошибки в некоторых авторских сносках к статье и описки в некоторых цитатах и датах.

Статья Добролюбова – яркий пример реализации принципов «реальной критики» на историко-литературном и публицистическом материале XVIII в. Литературу Добролюбов прежде всего соотносит с явлениями действительной жизни; главное для критика – результат, воздействие сатиры прошлого века, настоящего времени на читательские умы, на развитие общества. Поводом для такого разговора стала книга известного историка, фольклориста, этнографа А. Н. Афанасьева, активно сотрудничавшего в 1848–1852 гг. в «Современ-

нике». Его труд о сатирических журналах 1769–1774 гг. печатался в «Отечественных записках», «Русском вестнике» в 1855–1857 гг. и вместе с отдельным изданием получил благоприятные отклики в критике: *РСл.*, 1859, № 5; *БДЧ*, 1859, № 5 (автор – П. И. Вейнберг); *ОЗ*, 1859, № 7; *Северный цветок*, 1859, № 27, и др.

Афанасьев был одним из либеральных деятелей того времени, однако глубже многих его современников понял актуальность изучения сатиры, ее прошлого и настоящего. Он спорил с А. А. Краевским в письме к нему от 28 декабря 1857 г.: «По поводу сатирических журналов Новикова и некоторых других решительно с Вами не согласен: это книги, которые дай бог, чтобы теперь являлись» (Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 149, оп. I, ед. хр. 5). Во многих случаях исследователь был скован цензурными условиями. В письме тому же Краевскому от 27 января 1858 г. он сообщал: «Сомной цензурная беда: не пропущена статья, в которой я выдвинул было на свет вопрос о помещиках прошлого века. Что делать? Когда

же эмансипация развяжет руки литературе и науке?» (там же).

Добролюбов и до статьи по поводу книги А. Н. Афанасьева использовал материалы русской сатиры для оценки современной ему литературы и русской действительности. См. обширные выписки из «Живописца» и «Трутня» в статье «Деревенская жизнь помещика в старые годы» (Наст. изд., т. 1), а также статью «Собеседник любителей русского слова» (там же), его же обзор изданных А. Н. Афанасьевым других сатирических журналов 1769–1774 гг., в котором критик посоветовал Афанасьеву обратить «свое внимание на издания Новикова» (III, 465).

Новую работу Афанасьева, хотя и в меньшей степени, Добролюбов воспринимает критически, как не раскрывающую всех возможных выводов, которые подсказывают факты журнальной сатиры.

Повод для полемики давал и сам Афанасьев. Замысел его труда о сатирических журналах 1769–1774 гг. был скован задачей исторического описания в пределах литературы XVIII века. «Сюда войдет, – пояснял Афанасьев

А. А. Краевскому в письме от 19 марта 1853 г., – вся внутренняя сторона тогдашнего человека, поскольку она отразилась в журналах, тогдашние эстетические споры, полемика, взгляды на воспитание и французское влияние и проч. и проч.» (Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 391, ед. хр. 169).

Но главное острие полемики Добролюбова направлено против «почтенных» историков литературы, которые ограничивались общими рассуждениями о сатире, констатацией общеизвестных фактов (например, А. В. Никитенко в «Опыте истории русской литературы». СПб., 1845) или писали о ней, игнорируя конкретные общественные отношения (например, С. П. Шевырев в «Истории русской словесности». СПб., 1859–1860).

Противопоставляя «академическую» критику публицистической, «библиографическую» – реальной, Добролюбов включает демократическую сатиру в «настоящее» литературное дело, необходимое для революционно-демократических преобразований русского общества. В статье Добролюбова два глав-

ных связанных между собой плана: критическая, полемическая оценка сатиры в «золотой век» Екатерины II и уроки сатиры прошлой эпохи для настоящего времени.

В 50-е гг. оживилась сатирическая журналистика; в конце 50-х гг. появились уличные юмористические листки, «Весельчак», «Гудок» и наиболее значительные сатирические издания той поры – «Искра», «Свисток». Добролюбов стал автором большинства материалов «Свистка», первых шести номеров, вышедших при его жизни. Добролюбов находил, вспоминал М. А. Антонович, что «в некоторых случаях шутка или насмешка могут действовать сильнее, чем серьезное рассуждение, и что в шуточной или в сатирической форме возможно будет иногда провести в печать такие вещи, которые никак не пройдут в серьезной форме, и что, наконец, шуткой, насмешкой и издевательствами можно будет вернее убить ненавистную и самодовольную фразу о настоящем времени» (Шестидесятые годы. М. – Л., 1933, с. 152).

В понимании значимости сатиры для борьбы с крепостническими отношениями и

с либеральным обличительством – основной пафос статьи Добролюбова. Главная задача демократической журналистики в условиях относительной гласности – нападать не на частности, а на причины. Литература должна в своих анализах, приговорах различать «позволенное» ей, «игрушечное, от непозволенного, серьезного».

В статье Добролюбова видны его просветительские идеалы, его вера в решающую роль революционного слова. Жесткие характеристики деятельности Кантемира, Державина, Капниста, Новикова, «бессилия», «бесплодности» современной литературы объясняются страстным ожиданием перемен в русском обществе, обновления его законов в пользу интересов народа.

Максимализм Добролюбова верно пояснил хорошо знавший критика А. Н. Пыпин: «...перспективы будущего, необходимость упорной борьбы против застарелого общественного зла требовали, по его убеждению, более энергических усилий, более цельных, ясных, последовательных трудов в науке и литературе, которые могли бы сильнее дей-

ствовать на умы и настроение общества»
т(Пыпин А. Н. Добролюбов. СПб., 1904, с. 15).
Повернуться к проблеме «народного бед-
ствия», вскрывать порочность всей крепост-
нической, бюрократической системы – тако-
ва, как это следует из статьи, главная задача
литературы.

Сноски

1

Которая мыслят как великий человек и разрешает мыслить другим (фр.). – Ред.

[^^^]

2

Вот эти стихи:

*Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их.
«Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть охранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш долг – спасти от бед невин-
ных,
Несчастливым подать покров,
От сильных защищать бессиль-
ных,
Исторгнуть бедных из оков».
– Не внемлют! Видят и не знают,*

Покрyты мздою очеса;
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья;
Но вы, как я подобно, страстны
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет;
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!
Воскресни, боже, боже правых,
И их молению внимли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!.. {86}

[^^^]

3

В пользу свободы вопиют все права; но всему есть мера (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

4

Нравне (*ит.*). – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Из басни «Кот и повар» (ок. 1812 г.).

[^^^]

2

Речь идет о публицистах, сотрудничавших в «Московских ведомостях», «Русском вестнике».

[^^^]

3

Отмечая историческую слабость сатиры Кантемира, Добролюбов недооценивает ее национальный, прогрессивный характер в петровское время. В данной фразе – намек на молдавское происхождение А. Кантемира и его длительную дипломатическую службу за границей.

[^^^]

4

Эти мотивы есть в ряде сатир А. Кантемира, особенно в Сатире II («На зависть и гордость дворян злонравных»).

[^^^]

5

Имеется в виду Песнь I («Противу безбожных»).

[^^^]

6

Об этом шла речь в Сатире I («На хулящих учения. К уму своему»).

[^^^]

7

См. примеч. 6 к статье «Литературные мелочи прошлого года».

[^^^]

8

Имеется в виду полемически заостренная против «Литературных мелочей прошлого года» (об этой полемике см. наст. т. с. 726–727) статья Герцена «Very dangerous!!!», в которой автор иронически вопрошал противников обличений: «Давно ли у нас вкус так избаловался, утончился?» (Герцен, XIV, 117).

[^^^]

9

Речь идет о двухтомной «Русской истории» Н. Г. Устрялова (изд. 5-е. СПб., 1855) и «Полном собрании законов Российской империи. Собрание первое. С 1649 по 12 декабря 1825 года» (СПб., 1830).

[^^^]

10

Записки Г. Р. Державина. 1743–1812 (РБ, 1859, кн. 13–17).

[^^^]

11

В ОЗ (1858, № 3) – Заболоцкий М. Мнение кн. М. М. Щербатова об одном современном вопросе (текст записки о Петровской реформе); в «Библиографических записках» – «Несколько заметок кн. М. М. Щербатова о разных предметах» (1858, № 13), сатира Щербатова «О муж почтенный...» и др. (1859, № 12–15). Статьи М. М. Щербатова, опубликованные в «Московских ведомостях» (1859), Добролюбов цитирует в последней части настоящей работы.

[^^^]

12

«Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете» напечатали «Допросы Пугачеву» (1858, кн. 2), «Далматовский монастырь в 1773–1774 годах, или в пугачевский бунт...» (1859, кн. 1) и др. О материалах «Пермского сборника» (1859) см. посвященную ему рецензию Добролюбова в наст. т.

[^^^]

13

Статья Д. Иловайского: «Екатерина Романовна Дашкова. Участие в политическом перевороте» (ОЗ, 1859, № 9).

[^^^]

14

«Живописец» – сатирический журнал Н. И. Новикова, издавался в 1772–1773 гг. «Письмо Господину сочинителю «Живописца» подписано «Осьмидесятилетний Старик» (Живописец, 1772, ч. I, л. 7). Автор его не установлен.

[^^^]

15

Богиня справедливости в греческой мифологии.

[^^^]

16

Трутенъ, 1769, лист XXXV.

[^^^]

17

Цитата из оды Вольтера «Императрице России Екатерине II» (1771). Это же письмо с цитатой из Вольтера приводится в статье «Собеседник любителей российского слова». См. наст. изд., т. 1, с. 127 и с. 788, примеч 33.

[^^^]

18

Из «Оды к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице...» (1782). Текст указывается по изд.: Сочинения Державина, т. I. СПб., 1847.

[^^^]

19

В строфе пропущен второй стих:

И разуметь себя ценить.

[^^^]

Ода сочинена в 1801 г.

[^^^]

Записка Н. М. Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении» (1811) цитируется по изданию: Карамзин Н. М. История государства Российского, изд. 5-е, кн. I–III. СПб., 1842–1843.

[^^^]

22

Цитируется «Полное собрание законов Российской империи...». См. выше примеч. 9.

[^^^]

23

«Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особое внимание» (Собеседник любителей русского слова, ч. III).

[^^^]

24

«К г. сочинителю «Былей и небылиц» от сочинителя «Вопросов».

[^^^]

25

Сочинения императрицы Екатерины II, т. I–III, изд. А. Смирдина. СПб., 1849–1850.

[^^^]

26

Намек на Великую французскую революцию.

[^^^]

27

Почти весь тираж «Путешествия из Петербурга в Москву» был уничтожен.

[^^^]

28

Сопиков В. С. Опыт российской библиографии, ч. 1–5. СПб., 1813–1821.

[^^^]

29

Речь идет о распространении литературы минуя цензуру.

[^^^]

30

Обязанность каждого доносить «о слове и деле», направленном против государя. Система такого розыска была установлена еще в XVII в.

[^^^]

31

См. примеч. 13.

[^^^]

32

Ф. П. Львов, издавший «Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице Елизавете Николаевне Львовой, в 1809 г.», ч. I–IV (СПб., 1834).

[^^^]

33

Из оды «Изображение Фелицы»; в наст. изд. исправлена опечатка в указании стр. источника.

[^^^]

34

«Вечера» издавались в 1772–1773 гг. лицами из кружка М. М. Хераскова.

[^^^]

35

Офицеры П. Ф. Хрущов и братья Гурьевы были участниками дворцового заговора в пользу Ивана VI Антоновича, номинального российского императора (1740–1741), свергнутого Елизаветой Петровной, с 1756 г. содержавшегося в Шлиссельбургской крепости.

[^^^]

36

Подпоручик В. Я. Мирович пытался освободить из заключения Иоанна VI Антоновича, чтобы совершить дворцовый переворот.

[^^^]

37

Добролюбов имеет в виду «чумной бунт» в Москве, в котором участвовали фабричные и дворовые люди.

[^^^]

38

Об успехе этих журналов Добролюбов говорил и в статье «Собеседник любителей русского слова». См. наст. изд., т. 1.

[^^^]

39

«Всякая всячина» (1769–1770) издавалась под наблюдением Екатерины II.

[^^^]

40

От слова «moniteur» – руководитель, наставник (фр.).

[^^^]

41

Журнал Ф. А. Эмина, издавался в 1769 г.

[^^^]

42

Журнал М. Д. Чулкова, издавался в 1770 г.

[^^^]

43

Журнал издавался в 1769 г. при Сухопутном шляхетском корпусе.

[^^^]

44

Из «Ябеды» В. Капниста (д. I, явл. 1).

[^^^]

45

Живописец, ч. I, лист 5.

[^^^]

46

Живописец, ч. I, лист 14.

[^^^]

47

Эта статья – «Английская прогулка» – напечатана в листе 13 «Живописца» за 1772 г. (ч. 1).

[^^^]

48

Трутень, 1769, лист XVIII.

[^^^]

49

О появлении оды Державина в печати, о реакции на нее Добролюбов пишет в статье «Собеседник любителей российского слова» (см. наст. изд., т. 1, с. 98; со ссылкой на источники см. там же, с. 173).

[^^^]

50

Ода «Властителям и судиям» (1780).

[^^^]

Записки о Екатерине Великой состоявшего при ее особе статс-секретаря и кавалера А. М. Грибовского. М., 1847.

[^^^]

За регламентацию крепостного права тогда выступали историк И. П. Елагин, новгородский губернатор Я. И. Сиверс, деятель просвещения Я. П. Козельский, и особенно радикален в то время был ученый и дипломат князь Д. А. Голицын. «Вольное экономическое общество» по инициативе Екатерины II объявило в 1766 г. конкурс на тему «В чем состоит ответственность земледельца...», в котором приняли участие русские и иностранные авторы.

[^^^]

53

Цитируется по изд.: Капнист В. В. Сочинения. СПб., 1849.

[^^^]

54

При Александре I этот указ способствовал переводу в «свободные хлебопашцы» 47 000 крестьян.

[^^^]

М. В. Храповицкий – брат статс-секретаря А. В. Храповицкого, был предводителем дворянства в своем уезде в Тверской губ., перед смертью (1819) отпустил на волю 260 душ крестьян.

[^^^]

Из «Оды на достопамятное в России постановление о состоянии свободных хлебопашцев высочайшим императора Александра I указом февраля в 20 день 1803 года». Ода была опубликована в «Библиографических записках» (1858, № 12).

[^^^]

По предположению комментаторов (V, 594), – реминисценция из «Евгения Онегина» (гл. I, строфа VI):

*Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней...*

[^^^]

Во внешнеполитических обозрениях «Современника» (майское написано Чернышевским, августовское – Чернышевским и Добролюбовым) раскрывается подоплека итальянских событий, предательская роль в отношении Италии французского правительства, оценивается политическая ситуация после заключения Виллафранкского мира 1859 г., завершившего войну Франции и Сардинского королевства.

[^^^]

59

Всякая всячина, СПб., 1769–1770.

[^^^]

60

Трутень, 1869, лист XVI.

[^^^]

61

Трутень, 1869, лист XV.

[^^^]

Имеются в виду книги: «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1738–1793» (ОЗ, 1850–1851) и «Записки артиллерии майора Михаила Васильевича Данилова, написанные им в 1771 году» (М., 1842).

[^^^]

Вишневский и *Вихорев* – персонажи из пьес Островского «Доходное место» и «Не в свои сани не садись».

[^^^]

64

Слова Чацкого о Молчалине («Горе от ума», д. I, явл. 7).

[^^^]

65

Из цикла Некрасова «О погоде» («Сумерки», 1859).

[^^^]

66

См. статью «Темное царство» в наст. т., гл. IV.

[^^^]

67

Издание журнала было запрещено.

[^^^]

68

Цитируется по изд.: Фонвизин Д. Сочинения. СПб., 1852.

[^^^]

69

Цитируется доклад И. И. Бецкого Екатерине II «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», в котором использованы идеи французских энциклопедистов, Локка и Яна Амоса Коменского. Доклад вошел в его издание: «Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России обоего пола благородного и мещанского юношества» (т. I. СПб., 1789).

[^^^]

70

Воронов А. С. Федор Иванович Янкович ди Мириево (СПб., 1858). Анонимную рецензию на книгу Воронова см. в *Совр.* (1858, № 12).

[^^^]

71

Речь идет о работе, связанной с подготовкой к изданию «Словаря Академии Российской» (1789–1794) по образцу «Словаря Французской Академии».

[^^^]

72

Имеется в виду Великая французская революция.

[^^^]

73

Неточная цитата из «Трутня» (1769, лист XXVIII, «Смеющийся Демокрит»).

[^^^]

74

«Смесь» – сатирический журнал (1769); вероятно, издавался Н. И. Новиковым и Ф. А. Эминым (см.: Пухов В. В. Кто же издавал журнал «Смесь»? – Русская литература, 1981, № 2).

[^^^]

75

См. примеч. 61.

[^^^]

76

Журнал издавался в 1769 г. М. Д. Чулковым.

[^^^]

77

«*Кошелек*» – журнал Н. И. Новикова (1774).

[^^^]

78

«Жизнь графа Н. И. Панина» (1784). 1-е изд. в журнале «Зеркало света» (1786), 3-е – СПб., 1792.

[^^^]

79

См. оды Державина «Видение Мурзы» (1783–1784), «К Евтерпе» (1791).

[^^^]

80

Из «Оды к великой киргиз-кайсацкой царевне Фелице...».

[^^^]

81

Заключительные стихи из оды «Видение Мурзы» (1783–1784). Третья от конца строка читается иначе: «Твой образ будущим векам...»

[^^^]

Книга издана в 1819 г. (СПб.).

[^^^]

«Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина печатались в 1856–1857 гг. Добролюбов посвятил им рецензию. См. наст. изд., т. 1, с. 298–328.

[^^^]

84

О Кошихине см. примеч. 67 к статье «Темное царство» в наст. т.

[^^^]

85

С. 246 книги А. Н. Афанасьева.

[^^^]

86

Журнал издавался в 1786–1787 гг. Ф. Туманским и И. Богдановичем.

[^^^]

[^^^]